

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

*А.И. Черных*

**ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА В ЭПОХУ  
МЕДИАДЕМОКРАТИИ**

Препринт WP14/2010/04

Серия WP14

Политическая теория  
и политический анализ

Москва  
2010

Редактор серии WP14  
«Политическая теория и политический анализ»  
*М.Ю. Урнов*

## Содержание

1. Власть и публичность .....	4
2. Эволюция власти – от принуждения к убеждению .....	6
3. Инструменты власти: тайна, вопросы и ответы, суждение и осуждение .....	11
4. Символическая власть и информационная власть .....	18
5. Интеллектуалы, журналисты, эксперты .....	29
6. «Трансформация», «реформа», «демократия» и «глобализация» как медиасимволы .....	43
7. Медиадемократия как данность .....	66

### **Черных, А. И.**

Власть и политика в эпоху медиадемократии : Препринт WP14/2010/04 [Текст] / А. И. Черных; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 72 с. – 150 экз.

Среди множества определений современной демократии все чаще звучит подчеркивающее решающую роль медиа в формировании современной политики. Хотя о медиадемократии писали многие зарубежные исследователи, в нашей стране связанная с ней проблематика явно недооценена. В работе предпринята попытка осмысления соответствующих современных исследований. Автор приводит возможные смыслы понимания СМИ как «четвертой власти», обозначает реальный властный потенциал медиа, анализирует понятия «символическая власть» и «информационная власть», демонстрирует механизмы медиаманипуляций, ведущих определенные группы к «перехвату» символической и информационной власти в обществе. Итогом работы становится представление медиадемократии как нового этапа политического развития: перемещения политической деятельности из партий и парламентов на страницы и экраны СМИ при резком отрыве политики от интересов населения. Медиадемократия оказывается здесь новой, постмодернистской версией существования политического.

Работа выполнена при поддержке Научного фонда ГУ ВШЭ в рамках Индивидуального исследовательского проекта № 08-01-0046 «Медиа и политика: принципы исследования и практики взаимодействия».

УДК 32.019.51:070  
ББК 76.0

Препринты Государственного университета – Высшей школы экономики  
размещаются по адресу: <http://www.hse.ru/org/hse/wp>

© Черных А.И., 2010  
© Оформление. Издательский дом  
Государственного университета –  
Высшей школы экономики, 2010

## 1. Власть и публичность

На чем зиждется власть в медиатизированном обществе? В соответствии с концепцией медиадемократии, как она представлена в этой работе, ответ прост и незатейлив — на ее *репрезентации* именно в качестве власти. О том, как это происходит, будет много сказано ниже. Поэтому из множества существующих определений политики для анализа этого аспекта современной власти я выбрала предложенное П. Далгреном: власть — это «специфическая область публичной сферы, которая вынуждена иметь дело с медиапредставлениями, касающимися принятия конкретных государственных решений»<sup>1</sup>. В таком понимании политики фиксируется особый характер этого феномена как сферы публичности (публичного), которая выступает (в классическом правовом дискурсе, поскольку «публичное» как понятие возникает именно в языке юриспруденции) в значении «доступное для каждого», то есть открытое, где отсутствует запрет или контроль входа. Именно это значение публичности было перенесено на первые печатные медиа — газеты, явившиеся средством выражения всеобщих требований *разума*, значение, сопрягаемое с требованиями свободы выражения мнений, свободы прессы, отказа от цензуры.

По мере технологического развития СМИ, расширения областей их воздействия и экспоненциального роста аудитории в последней четверти прошлого века благодаря особой роли журналистов на первый план выдвигается новый смысл понятия публичности. По мнению американского коммуникативиста Джорджа Гербнера, поистине революционное значение современных медиа заключается в их возможности «создавать публичность»<sup>2</sup> и — дополняет немецкий социолог Никлас Луман — «репрезентировать ее»<sup>3</sup>. Следствием медийной репрезентации становится общественный резонанс, то есть *уси-*

<sup>1</sup> Dalhgren P. The Public Sphere and the Net Structure, Space, and Communication // Mediated Politics. Communication in the Future of Democracy / W.L. Bennett, R.M. Entman (eds.). Cambridge, 2001. P. 36.

<sup>2</sup> Gerbner G. Mass Media and Human Communication Theory // McQuail D. (ed.) Sociology of Mass Communications. N. Y., London: Penguin, 1976. P. 53.

<sup>3</sup> Луман Н. Реальность массмедиа. Пер. с нем. М.: Праксис, 2005. С. 164.

*ление* значения лиц, движений, событий, попавших в фокус медиа<sup>4</sup>. Именно последнее обстоятельство — создание и репрезентация публичности — оказывается предпосылкой и основанием особой роли медиа в современном медиатизированном обществе и, как результат, особого значения специализированной профессиональной группы — журналистов, превратившихся в «создателей смыслов» и даже экспертов. Прежде чем говорить об этом подробно, необходимо отметить: если раньше представление о «четвертой власти» было свидетельством общественного признания роли публицистов, способных влиять на решения власти, то теперь власть медиа выступает в виде «демократии средств массовой информации» (другое обозначение феномена медиадемократии) — это означает, что политически действительным фактом является только то, что можно сфотографировать и о чем можно рассказать. И хотя это обстоятельство «работает» применительно не только к политике, но и вообще ко всему, что попадает в поле зрения СМИ<sup>5</sup>, однако именно в политике оно проявляется особенно ярко.

Особую важность поэтому приобретает вопрос о взаимосвязи медиа и политики, ныне актуализированный в связи с широкими дискуссиями о кризисе современной демократии. Здесь обнаруживает себя несколько групп проблем. В основе классического понимания демократии лежит представление о «хорошо информированном индивиде», то есть человеке, принимающем решения (осуществляющим выбор) со знанием дела, что предполагает колоссальное значение для демократического процесса информации и информирования. Так возникает первый проблемный слой, который можно обозначить как формирование информационных основ демократии.

Второй слой — изменение характера и расширение состава «носителей» (акторов) власти в современных сложных обществах в связи с ослаблением социального государства (по сравнению с его предшественниками) и «перетеканием» части элементов власти к новым игрокам на поле политики, в частности, журналистам.

<sup>4</sup> Не случайно **publicity** в значении «известность», «популярность» входит в состав многих рекламных терминов (publicity campaign, publicity management, publicity agent), демонстрируя тем самым важность массового признания (узнавания).

<sup>5</sup> Вспоминается карикатура из старой (1960-х годов) английской газеты. Девочка спрашивает отца: «Папа, если в лесу упало дерево и не было никого с телевидения, чтобы заснять это, то упало ли дерево?»

Однако власть всегда сохраняет свою *differentia specifica*, и выявление этих базовых, хотя и диффузных на сегодня черт власти формирует еще один, третий – и весьма важный – исследовательский срез проблемы.

Данная работа представляет собой попытку проанализировать механизмы воздействия современных массмедиа на политический процесс и, соответственно, изменения самих медиа в ходе этого воздействия как единый процесс взаимодействия политики и медиа, в рамках которого и складывается новая реальность политического.

## 2. Эволюция власти – от принуждения к убеждению

Власть – весьма «успешный», с точки зрения исследовательского внимания к нему, феномен: существуют разнообразные и разного уровня глубины и сложности теории власти, как и довольно большое количество ее определений<sup>6</sup>. Не вдаваясь в тонкие дистинкции, для решения задач нашей работы целесообразно в интерпретации власти выделить два основных подхода: негативный и позитивный. В русле негативного подхода власть олицетворяет собой принуждение, угнетение, насилие – если это государственная власть, то организованное насилие. В рамках позитивного подхода власть понимается как законное руководство, авторитет, как признанное лидерство и влияние. В этом смысле власть ассоциируется с гармонией интересов и групповой солидарностью. Если негативный подход характеризует скорее отношение к власти, свойственное девятнадцатому столетию, то к власти в социальном государстве скорее приложимы характеристики позитивного подхода. По этому же критерию можно классифицировать и концепции власти.

К первому типу можно отнести концепцию знаменитого социолога конца XIX – начала XX в. Макса Вебера, предложившего ставшее теперь классическим определение власти. По Веберу она представляет собой «любую возможность осуществления собственной воли внутри определенного социального отношения, в том числе и

<sup>6</sup> Назову только одну классическую работу, где исследуются разные подходы к власти, недавно впервые опубликованную по-русски: Льюкс Ст. Власть: Радикальный взгляд. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010.

вопреки сопротивлению»<sup>7</sup>, то есть власть – это навязывание собственной воли. И хотя сам Вебер считал понятие власти «социологически аморфным», поскольку власть существует везде и всегда, где сходятся минимум двое, а государственную власть обозначал термин «господство», предполагающим «возможность найти повинование приказу», однако именно власть составляет стержень политики, понимаемой как процесс принятия и осуществления решений, обязательных для групп, имеющих разные интересы. Для любой власти, по Веберу, решающим оказывается наличие двух основных характеристик – *легальности* и *легитимности*. Если легальность (от лат. *legalis* – законный) связывает осуществление власти с правом: только та власть законна, которая получена и осуществляется в соответствии с действующими правовыми нормами, как правило, с Конституцией, что и обеспечивает формальную законность власти, – то легитимность (от лат. *legitimus* – признанный законным) означает *признание* гражданами законности власти, представляя собой социально-политические основы власти; ныне – эта столь важная форма *доверия* (*trust*), оказываемая гражданами власти. Проблема признания имеет решающее основание для утверждения легитимности: легитимность придают политической власти те символические атрибуты, которые существуют лишь постольку, поскольку окружающие признают, что власть ими обладает, – авторитет, престиж, справедливость, полезность. Именно признание атрибутов власти означает ее принятие и поддержку.

Таким образом, уже в трактовке Вебера, фиксирующей принудительный характер власти, находит свое отражение ее коммуникативный аспект, вне которого невозможно не только осуществление ее (речь все время идет о демократическом типе правления), но даже само ее существование (власть, утратившая коммуникацию с гражданами и лишившаяся их поддержки, вынуждена уйти). В интерпретации Роберта Даля сформулированное Вебером «интуитивное» представление о власти выглядит примерно так: А обладает властью над Б в той мере, в какой он может заставить Б делать то, что предоставленный самому себе Б делать не стал бы (так называемая «литерная» формулировка).

<sup>7</sup> Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: Mohr, 1971. § 16.

Ко второму типу можно отнести трактовку власти, предложенную создателем структурного функционализма Талкотом Парсонсом: это способность мобилизовать ресурсы общества «для достижения целей, признанных всем обществом». Поэтому власть — не атрибут акторов или отношений, но свойство или ресурс систем, которые «производят» ее аналогично богатству. По Парсонсу, власть представляет ценность не сама по себе, но в силу присущей только ей функции — благодаря согласию членов общества легитимировать лидерство, она дает обладателям соответствующего статуса мандат на принятие решений и формирование политики от имени общества. Парсонс, пожалуй, первым подчеркнул «символический» аспект власти, четко отделив его, в силу его абсолютной зависимости от доверия граждан, от принудительного аспекта, аспекта насилия. Этот символический, или коммуникативный аспект власти впоследствии разрабатывался Юргеном Хабермасом и Никласом Луманом. Дальше в этом направлении пошел Р. Нейштадт, утверждающий, что президентская власть в современных демократиях — это преимущественно власть убеждения, а поскольку убеждение — это обоюдный процесс сближения позиций, власть убеждения состоит в достижении согласия. По мнению психолога Т. Болла, власть убеждения — уникальная сторона более широкой сферы, которую homo sapiens разделяет с другими живыми существами, — способности общения посредством речи, символов и знаков. Именно в ходе общения (коммуникации) создаются и поддерживаются человеческие сообщества. Одним из самых популярных примеров, иллюстрирующих подобное понимание власти, выступают отношения водителя и регулировщика. Регулировщик с помощью свистка и жеста заставляет шофера остановиться, повернуть направо или налево, то есть применяет свою власть, пользуясь общим языком, на котором можно «скомандовать», «приказать». Иногда говорят, что регулировщик мог бы, игнорируя общение, просто застрелить водителя или заставить его подчиниться при помощи дубинки. Но в этом случае власть в ее коммуникативном аспекте исчезает, ее заменяет акт насилия.

Не только СМИ резко изменились за два с лишним века, но и власть претерпела значительную метаморфозу, не в последнюю очередь под воздействием медиа. Уже с конца XIX в. происходит изменение функций государства за счет возрастания и разрастания его экономических функций. Возникает новый тип корпоративных от-

ношений, при котором реализация организованных, прежде всего экономических интересов происходит непосредственно во взаимодействии между их носителями (крупными корпорациями) и государством, становящимся важным игроком на этом поле. Результатом стало возникновение современного социального государства, обеспечивающего лояльность масс с помощью политики перераспределения доходов. Место главенствовавших ранее классовых антагонизмов занимает «технократическая идеология», подпитываемая быстрым ростом науки и техники. Электронно-коммуникационная революция обуславливает процесс монополизации информационного капитала, что ведет к кризису господствовавшей ранее во взаимоотношениях прессы и государства модели и ставит под вопрос казавшиеся ранее само собой разумеющимися принципы осуществления свободы печати.

Массмедиа в этом контексте выступают как едва ли не главный посредник в процессе взаимодействия власти и граждан, которые с помощью СМИ могут осуществлять контроль над решениями властей. Более того, медиа выдвигаются на первый план в отношениях «власть — общество», поскольку именно в сообщениях СМИ в наибольшей степени отражаются действия власти. Эта «сопряженность» с властью в общественном сознании и порождает концепцию (или, как считают некоторые, миф) о роли СМИ как «четвертой власти».

Сторонники концепции «четвертой власти» обычно подчеркивают три основные особенности, характеризующие современную роль медиа в политическом процессе.

Во-первых, превращение их в существенный элемент демократической политики благодаря предоставлению информационного пространства как арены публичного обсуждения и распространения различной информации и мнений, а также канала трансляции дебатов, имеющих общественное значение, в ходе которых официальные претенденты на выборные политические должности приобретают широкую известность (эта особенность существовала всегда, сейчас же произошел экспоненциальный ее рост, обозначаемый понятием «вездесущности» СМИ).

Во-вторых — и это сравнительно новая черта, — медиа становятся непосредственным орудием *реализации власти* в силу относительной закрытости доступа к ним, требующего определенных привилегий,

которыми обладают видные политики и государственные структуры.

В-третьих, именно медиа в современных условиях выступают в качестве основного *механизма* общения народа и власти, обеспечивающего последней возможности мобилизации масс.

Эта многообразная «сопряженность» с властью в общественном сознании и подпитывает в современных условиях концепцию медиа как «четвертой власти».

В современном обществе политика является гражданам только посредством массмедиа, ибо только здесь формируется общественно-политический дискурс: *то, как вербально и визуально проявляет себя политическая система, коммуницируя с обществом*. Сами политики могут использовать медиа двояко: непосредственно — как техническое средство (для передачи сообщений, площадку для выступлений и т.п.), либо косвенно — влияя на формирование повестки дня, отбором тем и фактов посредством монополии на поставку политической информации.

Практику открытого политического дискурса в медиа определяют его основные участники, а именно:

1) лица, непосредственно вовлеченные в процесс управления, то есть представители власти — политики, статусные чиновники и их официальные представители;

2) общество, но опосредованно — через выступления в СМИ партийных руководителей, лидеров общественного мнения, рядовых граждан;

3) сами медиа, которые в этом процессе играют, по крайней мере, за двоих — с одной стороны, они информационный канал и основная площадка обмена информацией между властью и обществом (публичная арена), а с другой стороны, они равноправный участник коммуникации в лице журналистов, самостоятельно моделирующих политическое пространство;

4) эксперты (политтехнологи), которые, интеллектуально насыщая обсуждение, расширяют его содержательные рамки, активно взаимодействуя со всеми тремя основными игроками на этом поле. Роль экспертов в высококонкурентной среде, какой является современная политика, объясняется довольно просто — прежде всего, никто не может знать все и достаточно глубоко, поэтому политики вынуждены прибегать к помощи профессионалов; с другой стороны, сами

медиа нуждаются в оперативных комментариях, на которых специализируются политические аналитики. Особенностью последних лет стал новый феномен — превращение журналистов в экспертов, то есть принятие ими на себя не свойственных им ранее функций профессиональной (научной) интерпретации. Этот чрезвычайно показательный факт, многое проясняющий во взаимодействиях медиа и политики, будет подробно рассмотрен отдельно.

### 3. Инструменты власти: тайна, вопросы и ответы, суждение и осуждение

Возможность осуществления символической власти всегда, в том числе и в условиях демократии, в значительной степени обусловлена специфическим набором черт, которые не учитываются рациональными определениями власти, предлагаемыми наукой. Однако именно эти «ненаучные» свойства власти и позволяют реализовывать ее на практике, то есть канализировать в желательном направлении энергию масс, мобилизуя людей на практические действия. Эти черты власти представил в цельном виде знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Элиас Канетти, который был и глубоким социальным мыслителем, свидетельством чему является его удивительная книга «Масса и власть».

Предложенные Канетти «инструменты власти» в совокупности своей формируют «идеальный тип» власти (в веберовском смысле), или ее *архетип*. На основе выделенных Э. Канетти черт власти, «рассыпанных» по страницам его книги, можно сконструировать типы ее проявлений, насчитывающие семь элементов: это *насилие, тайна, скорость, право приказывать и рассчитывать на исполнение приказов, право задавать вопросы и получать ответы, право судить и осуждать, право прощать и миловать*<sup>8</sup>.

Если рассматривать эти характеристики более внимательно, то можно оценить некоторые из них — в частности, *насилие, тайну, право прощания и помилования* — как довольно традиционные, всегда связывавшиеся с властью как таковой и даже составлявшие ее ядро и суть; особенно в этом смысле характерно насилие, бывшее в виде «легитим-

<sup>8</sup> Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997. С. 308, 314, 320, 322 и др.

ного насилия» (М. Вебер) на протяжении всей истории синонимом власти государства. В современных обществах власть все более *отдаляется* от прямого (физического) насилия над гражданами, конечно же, не отказываясь от применения силы вообще, но используя ее преимущественно в демонстративных целях в качестве выражения и подтверждения мощи государства. Сегодня власть рассматривается скорее как орудие достижения компромисса и контроля за соблюдением достигнутых договоренностей, с потерей при этом самого основного ее свойства — права отдавать *приказы* и рассчитывать на их выполнение. *Скорость* как быстрота реагирования власти в условиях разветвленного и неповоротливого бюрократического аппарата демократического государства также утрачивается.

Примерно такую же эволюцию претерпевает в современном мире и атрибут власти *тайна*, которая всегда была одним из важнейших ее элементов; по мнению Канетти, тайна составляет «сокровеннейшее ядро» власти: «уважение к диктаторам в значительной степени вызвано тем, что в них видят способность концентрации тайны»<sup>9</sup>.

Одним из первых к понятию тайны обратился француз К.-Г. де Ламуаньон де Мальзерб в «Замечаниях относительно налогов» (1775), написанных им от имени Счетной палаты — независимого суда, первым председателем которого он был. Тайное управление государством, ведущее к подавлению всякого публичного протеста, он считал характерной чертой деспотии. Анализируя формирование судебной системы, развивающейся от эпохи «словесных договоров» к письменной фиксации закона, означающей появление у граждан «постоянных прав», Мальзерб указывает в связи с этим на возникновение сразу двух тайн: тайны управления, которое отделяется от правосудия, и тайны судебных процедур, поскольку приговор отныне выносится на основании письменных документов. Однако это отнюдь не укрепило общественной свободы, но наоборот, считает Мальзерб, посеяло в государстве семена деспотической порчи<sup>10</sup>.

С появлением первых газет разоблачение «тайн власти» стало одной из основных функций журналистики, реализующей тем самым либеральный принцип свободы слова. Однако лишение власти «тайны» в некоем сакральном смысле, которое свойственно демократии

<sup>9</sup> Канетти Э. Масса и власть. 1997. С. 320.

<sup>10</sup> См.: Шартъе Р. Письменная культура и общество. М.: Новое издательство. С. 24–26.

как четко фиксированному законодательно и ясному процессу осуществления процедур, привело демократию, по мнению Элиаса Канетти, к ее «греху». Смысл демократии он полагает в том, что в ней «все *забалтывается*. Каждый треплет языком, каждый вмешивается во что угодно, в результате ничего не происходит, потому что все всем известно заранее. Жалуются на недостаток политической воли, на самом же деле разочарование вызвано отсутствием тайны»<sup>11</sup>.

Так же все обстоит и в нынешнем обществе. За счет увеличения скорости распространения информации тайна «перетекает» — в широком смысле — к индивидам, гражданам и группам. Тайна как «ядро власти» эволюционировала вместе с последней, расплываясь и приобретая множественный характер, она «индивидуализировалась» и выступает теперь в виде «тайны личной жизни» (*privasy*), «врачебной тайны», коммерческой тайны (инсайдерской информации), адвокатской тайны, тайны исповеди (одной из самых «старых» тайн). Насилие сохраняется в обществе в виде криминального, связанного с деятельностью преступных группировок, и бытового насилия, то и другое приобретает угрожающие размеры; и в этом — свидетельство ослабления роли государства: существует давно зафиксированная зависимость между усилением криминала (насилия) в обществе и слабостью государства; с преступностью успешно борются только авторитарные режимы. Все это — следствия «распыления» власти в современном демократическом обществе, носителями которой выступают наряду с ослабленным государством и другие акторы — группы и индивиды.

Для целей нашего анализа особое значение имеют следующие характеристики власти, выделенные Э. Канетти: право *задавать вопросы и получать ответы* и право *судить и осуждать*. Именно этих черт по мере демократизации все в большей степени лишалась власть, и именно они стали основой формирования новых «носителей» власти.

В чем глубинный смысл этих атрибутов власти, или что означает право задавать вопросы и получать ответы? Обратимся к тексту Канетти. «Всякий вопрос есть вторжение... В спрашивающем вопросы поднимают ощущение власти, он наслаждается, ставя их снова и снова. Отвечающий покоряется ему тем более, чем чаще отвечает. Сво-

<sup>11</sup> Канетти Э. Масса и власть. С. 320.

бода личности в значительной мере состоит в защищенности от вопросов. Самая сильная тирания та, которая позволяет себе самые сильные вопросы»<sup>12</sup>.

Возможность *не отвечать* на вопросы — это возможность сохранить тайну (в чем бы она ни состояла). И — *vice versa* — право не отвечать означает *право на тайну*. Следовательно, право молчать, то есть не отвечать на вопросы, — это не только защита от власти, но и переход некоторого «количества» власти к тому, кто не отвечает. Таков механизм индивидуальной, по сути — пассивной защиты от власти.

Для современного общества характерно существование весьма обширного публичного пространства *задавания вопросов власти* — это, собственно говоря, все публичные арены или массмедиа, где этим правом как преимуществом профессионального статуса обладают журналисты. Именно журналист, задавая власти вопрос (обращенный либо к власти «вообще», либо к ее конкретному носителю) со страниц газет, с телеэкрана или по радио, в прямом общении (интервью) или опосредованно, использует свое право выступать от имени общества.

Вопросы журналистов, адресованные власти, отличаются от вопросов, с которыми власть обращается к подданному или гражданину. Вопросы власти всегда *несвободны*, поскольку это не могут быть любые вопросы. Даже авторитарный правитель или государственный чиновник ограничен, с одной стороны, *правом* подданного или гражданина *на тайну* (личную или корпоративную), с другой — сам властитель или чиновник несет (ощущает) свою *ответственность* (в силу озабоченности легитимностью собственных поступков или из боязни быть обвиненным в злоупотреблении служебным положением<sup>13</sup>). Иными словами, власть всегда *ограничена* в своих проявлениях, в том числе и в задаваемых ею вопросах, множеством существующих в современных обществах законодательных норм и регламентов, а также

<sup>12</sup> Канетти Э. Масса и власть. С. 309.

<sup>13</sup> Хорошей иллюстрацией этого положения является история старой мельницы, до сих пор сохранившейся в Потсдаме вблизи дворца Сан-Суси прусского короля Фридриха II. Все попытки снести ее во время строительства дворца оказались безуспешны из-за отказа владельца, когда же во время случайной встречи Фридрих спросил мельника, не опасается ли он захвата здания силой, тот ответил: «Но ведь у короля есть суд».

разветвленной системой бюрократического контроля. Даже представители судебной ветви власти — судьи и прокуроры, функция которых состоит в прямом задавании вопросов, не могут задавать любые вопросы, поскольку они ограничены процедурой и адвокатами, стоящими на страже интересов допрашиваемого (то же относится и к фазе следствия). Более того, для вопрошания властью существует специальное место — камера для допросов, зал судебных заседаний, властные действия в которых также носят строго фиксированный процедурный характер.

Вопросы же, задаваемые журналистами власти, «ненормированы», поскольку любые формальные процедуры и ограничения отсутствуют (единственным ограничителем здесь являются моральные качества журналиста и его личные обстоятельства). Поэтому можно сказать, что журналисты *безответственны*. Еще одна черта этих вопросов: они задаются журналистами *публично* и, в большинстве своем, *заочно* (исключение составляют интервью, но в них вопросы, как правило, согласовываются). Поэтому ситуация представителя власти, которому задан вопрос, резко отличается от положения подданных или граждан, которые имеют право не отвечать на многие из вопросов (в частности, не свидетельствовать против себя). Представитель власти обязан по закону ответить на все вопросы в течение предписанного срока, нарушение которого может иметь для него самые неблагоприятные последствия. Иными словами, власть, за исключением строго определенных законодательством сфер, связанных с безопасностью государства (спецслужбы, некоторые подразделения внутренних дел — борьба с организованной преступностью, торговлей оружием и наркотиками) *лишена права на молчание* в ответ на задаваемые ей — прежде всего журналистами — вопросы.

Подобная ситуация означает, что власть теряет свою *differentia specifica* и становится *подвластной* — тем, в отношении кого реализуется власть. Властью становятся журналисты, имеющие право задавать вопросы и получать ответы, и это право оказывается значительно шире и сильнее, чем аналогичное право власти, которая к тому же лишена защиты от вопросов в виде права на молчание.

В этом, как представляется, и состоит реальность власти медиа как «четвертой власти» в современном мире — в праве задавать вопросы и требовать на них ответа. Иногда говорят о «тирании общественного мнения», на самом деле подлинной тиранией оказывает-



ся мощь медиа, задающей «сильные вопросы» власти. При этом «четвертая власть» существует за счет первой, усиливаясь настолько, насколько ослабевает та. Налицо уже упоминавшееся явление, характерное для современной демократии, — перераспределение власти в ходе «перетекания» ее к другим индивидам и общественным группам.

Еще одним усилителем реальной власти медиа в современном мире оказывается право *судить и осуждать*. Если традиционно под этим имелось в виду осуществление (государственной) властью функций судебной и исполнительной ветвей власти, то есть вынесение приговоров преступникам и их исполнение, то сейчас это право в значительной степени перешло к журналистике, а основным способом его реализации оказывается *разоблачение (expose)*. Именно разоблачение как основной метод журналистских расследований (и вообще этот вид журналистской деятельности) выступает в качестве наиболее мощного орудия «четвертой власти» — таково его воздействие на общественное мнение — и может привести не только к ослаблению *легитимности* существующей политической власти, но и к утере ее теми, кто ею обладает. Один из наиболее ярких примеров — Уотергейтское дело, обернувшееся для президента США Ричарда Никсона импичментом.

Кроме уже отмеченных, еще одним ресурсом, открывающим журналистике реальные властные механизмы, выступает *общественное мнение* — «конечная» инстанция и для журналистов, и для политиков, — играющее значимую роль в современной политической жизни.

Еще в начале XX в. знаменитый французский психолог Габриэль Тард впервые ввел в научный обиход термин «публика», понимая под ней «чисто духовную коллективность» индивидов, соединенных лишь «умственно» — на основе чтения одной газеты, что обеспечивает единство убеждений и общность чувств<sup>14</sup>. Зарождение собственно политической публики, довольно быстро вбирающей в себя все другие ее разновидности — литературную, философскую и т.п., относится ко второй половине XVIII в., а ее утверждение как ведущей силы для выражения общественных интересов приходится на период Великой французской революции 1789—1793 гг., которая, по мнению

<sup>14</sup> Тард Г. Толпа и публика // Тард Г. Социальные этюды. Пер. с фр. СПб., 1902.

Тарда, и породила журналистику как особую форму профессиональной деятельности. Соединение индивидов в публику, считал Тард, осуществляется посредством складывания особого духовно-психологического образования — общественного мнения, а человек, оказывающий по роду своих профессиональных занятий влияние на это мнение или даже его формирующий — журналист-публицист, — становится центральной фигурой политического процесса, способной выполнять некоторые функции психологического воздействия, какое обычно оказывает на толпу вождь.

Это отражает суть процесса осуществления демократии в изначальном смысле понятия «власть народа». Именно отношение граждан к власти и фиксируется в понятии общественного мнения, формами которого в современном обществе выступают любые массовые акции — референдумы, демонстрации, составление петиций, а наиболее отчетливым выражением этого мнения как мнения избирателей и самым значимым для политического процесса являются выборы. Все эти действия есть *политические акции*, не только в освещении которых, но нередко и в организации которых весьма велика роль журналиста (вспомним большевистский лозунг: «Газета не только коллективный агитатор и пропагандист, но и организатор»).

Все это довольно явственно отражает роль журналистики в обществе. Однако на современном этапе его развития, связанном с появлением новых средств коммуникации — аудиовизуальных — и их экспоненциальным ростом, меняется и *расширяется* функция отправителей сообщений, то есть журналистов. Они создают информационный аналог действительности и наделяют ее смыслом, что позволило французскому социологу Патрику Шампаню вслед за Пьером Бурдьё говорить о «*символической власти*»<sup>15</sup>, обозначив так те возможности, какие открывает перед журналистами использование архетипических свойств реальной власти, о которых писал Э. Канетти. Роль журналистов в обществе таким образом многократно усиливается.

<sup>15</sup> Шампань П. Двойная зависимость. Несколько замечаний по поводу соотношения между полями политики, экономики и журналистики // Socio-Logos'96. Альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии РАН. М., 1996. С. 210.

#### 4. Символическая власть и информационная власть

Право на коммуникацию, как отмечает известный английский социолог Энтони Гидденс, традиционно (на протяжении последних двухсот-трехсот лет — со времени появления первого медиа — газет) было организовано *репрезентативно*: люди делегировали свой голос другим, не только политикам, но не в последнюю очередь — журналистам, и те нередко становились влиятельными политическими фигурами. К концу XIX в. возрастает роль *публицистов* — журналистов, обладающих, по мнению Габриэля Тарда, «даром сильного психологического воздействия, обычно присущего вожакам толпы», а потому превращающихся в центральные фигуры политического процесса<sup>16</sup>. Свидетельством общеевропейского характера этой тенденции является зафиксированное Максом Вебером появление «партийных» журналистов, из числа которых нередко выходят политики<sup>17</sup>.

Постепенно по мере технологического развития в XX в. включая развитие средств массовой коммуникации (радио, кино, телевидения, а затем Интернета), происходят резкие социально-культурные сдвиги и расширяются функции сферы коммуникации и ее представителей: медиа превращаются в *информационный аналог* реальности, а журналисты — из трансляторов информации в *создателей смыслов*.

Проблема делегирования как вопрос о переносе власти, в результате чего доверитель разрешает доверенному лицу (группе) действовать, в нашем случае — говорить вместо себя, является одной из наиболее интересных и сложных тем политического анализа. Однако между политической и журналистской репрезентациями — принципиальное различие. Если политики в условиях современной демократии получают мандат на власть в ходе демократической процедуры выборов, то есть *легально*, — «властные» полномочия журналистов рождаются в процессе инкорпорирования (встраивания) последних в профессиональное сообщество, обеспечивающее им доступ к публичным аренам. Власть, которая действительно у них существует, приобретается журналистами, таким образом, путем «само-

захвата», ибо их (журналистов) не выбирают. Тем не менее складывающаяся ситуация оказывается для журналистов имплицитным основанием претендовать уже на «вторую» — информационную — власть в обществе. Попробуем разобраться в этой проблеме и начнем с самого понятия «информационная власть» как варианта символической власти.

Последний концепт разрабатывал выдающийся французский социолог Пьер Бурдьё, понимая под ним *власть наименований и классификаций* как возможность создавать и навязывать определенные социальные представления, модели желаемого устройства общества и государства. Такого рода власть в большинстве западных демократий, как считает Бурдьё, еще сравнительно недавно была отделена от политической и экономической, а в настоящее время все в большей степени концентрируется в руках одних и тех же людей. Самым близким по времени примером максимальной концентрации символической власти в одних руках, а именно в руках партии, является Советский Союз, где монополия на информацию и жесткий контроль за ней превратила СМИ в средства массовой информации и пропаганды, что на деле означало подмену информации пропагандой. Практически тот же процесс мы наблюдаем сейчас в западных демократиях. Так, в американской коммуникативистике в начале 1990-х годов возник даже специальный термин — олигополия новостей (*news oligopolies*): владельцы крупных корпораций, приобретая медийные средства, начинают во все большей степени контролировать все большие информационные группы, присваивая тем самым инструменты производства и распространения культурного продукта. Объединяя разные средства производства символической продукции — телевизионные каналы, Интернет-компании, книжные и журнальные издательства, кино- и телестудии, они предлагают один и тот же товар (в разных формах), ибо информация (в широком смысле) выступает для ее производителей продуктом, произведенным для продажи, то есть товаром в традиционном политэкономическом смысле — создание и распространение которого подчиняются общим экономическим регуляторам, главным из которых выступает прибыль.

В рамках дискуссий на эту тему в западной коммуникативистике сложилось три варианта ответа на вопрос о том, кому принадлежит реальная информационная власть (заметим, что все три позиции представлены в рамках единого — либерального подхода). Первый ответ —

<sup>16</sup> Тард Г. Толпа и публика. С. 83–85.

<sup>17</sup> Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 668.

потребителю, второй ответ — журналисту, третий ответ — ни тому, ни другому, а тем, кто предоставляет информацию. По мнению сторонников последней точки зрения, мы не видим этого в силу традиционного «медиацентризма» — чрезмерного и нередко совершенно излишнего интереса к тому, как устроены медиаорганизации; на деле все определяют внешние факторы — источники информации, которых множество и которые ожесточенно конкурируют друг с другом, ибо за ними стоят соперничающие за внимание общества группы интересов<sup>18</sup>. Кроме того, в рамках того же либерального подхода существует и еще одна точка зрения, согласно которой СМИ отражают состояние общества, а любые мнения журналистов, все содержание и вся механика их деятельности изначально сформированы культурой данного общества. Этот взгляд подтверждают два исследования шведской прессы, проведенные в 1980-е годы: согласно им не только статьи, но даже рекламные материалы отражают эгалитарные ценности, сложившиеся в послевоенный период и получившие выражение в политике «социального государства», ориентированного на выравнивание уровня доходов граждан<sup>19</sup>.

Вряд ли разумно строго придерживаться какой-то одной из указанных позиций. Какая бы из инстанций ни играла решающую роль в формировании содержания медиапрезентаций, складываются они в борьбе и взаимодействии всех многочисленных организаций, общностей и групп. На Западе существует понятие *медиаполитики* (хотя в словаре российской политологии такого понятия пока нет) как совокупности всех политических проблем, связанных с медиа: государственной политики, редакционных политик, политики корпораций, общественных движений и т.д. Медиаполитика в современном мире — область, где правительства, граждане, потребители, компании, даже религиозные организации стремятся как-то управлять социальными и/или экономическими последствиями распространения новейших технологий медиа. Основная роль в этом процессе прина-

<sup>18</sup> См.: Schudson M. The sociology of news production revisited (again) // Mass Media and Society / J. Curran, M. Gurevitch (eds.). 3<sup>rd</sup> ed. London: Arnold, 2000.

<sup>19</sup> См. об этом: Nowak K. Cultural Indicators in Swedish Advertising 1950–1975 // Cultural Indicators: An International Symposium / G. Melischek et al. (eds.). Vienna: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1984; Block E. Freedom and equality; indicators of political change in Sweden, 1945–1975 // Advances in Content Analysis / K. Rosenberg (ed.). London: Sage, 1981.

длежит коммуникационным технологиям, ибо именно с их помощью распространяются идеи и информация — то, что может изменить политическую и культурную сферы общества. Представление о решающей роли этих «смыслопроизводящих» технологий возникло давно. Одними из первых эту идею отстаивали Джон Мильтон и Антуан Ривароль. Последний сравнил книгопечатание с изобретением пороха — по его воздействию на человеческую историю. И эта «взрывоопасная» аналогия хорошо объясняет стремление государства (правительств — в демократиях, неизбранных лидеров — в недемократических режимах), общества и даже церкви контролировать медиа.

Все указанные позиции базируются на традиционной либеральной доктрине, согласно которой СМИ, как бы и чем бы они ни формировались — потребительским спросом, профессиональной деятельностью журналистов, производителями информации, ценностями данного общества (единого мнения относительно удельного веса каждого из источников нет), однако все сходятся в одном — свободные СМИ служат обществу.

Для радикальных критиков медиа все это выглядит детским лепетом и полнейшей потерей чувства реальности, поскольку, по их мнению, деятельность медиа определяется внешними по отношению к ним факторами, прежде всего, экономическими. Информация имеет не только символическую, но и экономическую ценность. Информация вообще и новость в частности — уже давно товар. К началу XXI в. признание того факта, что медиа на основе коммуникационных технологий производят товары, то есть то, что продается и покупается, стало общим местом. Процесс превращения информационного продукта в товар получил название коммодификации; этот процесс, охвативший всю сферу культуры, английский исследователь Джон Томпсон назвал «медиазацией культуры»<sup>20</sup>.

В большинстве стран Запада из небольших и действительно независимых газет XIX в. выросли гигантские медиахолдинги, целью которых является не совершенствование журналистской работы, а максимизация прибыли. К тому же владельцы этих холдингов, как правило, имеют интересы и в других сферах бизнеса, а потому заинтересованы в минимизации налогового бремени, специфической

<sup>20</sup> Thompson J. B. The Media and Modernity. A Social Theory of the Media. Oxford: Polity Press, 2003. P. 27.

промышленной, банковской и профсоюзной политике государства, направленной на поддержание именно крупного предпринимательства. Эти интересы воздействуют как на их отношение к государству, так и на политику контролируемых ими медиа.

Еще одним объединяющим крупный бизнес и коммерческие СМИ элементом является общая философия, формирующаяся на базе общей корпоративной культуры и единого топ-менеджмента, в связи с чем СМИ отказываются от претензий на то, чтобы быть «четвертым сословием», реально воздействующим на власть с целью защиты и продвижения интересов общества (именно так позиционировали себя первые британские газеты), а превращаются в обычный крупный бизнес, привлекательность которого прекрасно определил некий британский лорд, хозяин медиаимперии, заявивший, что иметь лицензию на вещание — все равно, что получить право печатать деньги. К тому же действие экономических законов усиливает позиции более крупных медиаорганизаций (прежде всего за счет поступлений от рекламы), а чем выше тираж, тем сильнее стремление к идеологической «золотой середине», устраивающей большинство аудитории.

Очевидно, что наиболее значительная роль в этом процессе принадлежит экономике, воздействия которой разнообразны. Так, кроме власти владельцев медиа весьма значительно воздействие рекламодателей, которые готовы платить за рекламу дороже, если она достигает аудитории с высоким уровнем дохода. При этом, как указывают исследователи, нередко страдает оптимальная структура национальных медиа, а вместе с ней и уровень информированности населения. Так, если взять Великобританию, окажется: пять из десяти ежедневных общенациональных газет — так называемые престижные издания, выражающие интересы политической элиты, стоящие на консервативных позициях и ориентированные на верхние слои потребительского рынка. Но именно они являются единственными изданиями, где подробно освещаются общественно-политические проблемы! Существовавшие сравнительно недавно издания, стоявшие на других политических позициях и тиражи имевшие даже большие, исчезли, не сумев пробиться к более зажиточным, чем их читатели, слоям общества, а потому стали непривлекательными для рекламодателей. Вывод очевиден: именно реклама, ориентированная на зажиточные слои общества, и является главной причиной про-

цветания «престижной» прессы — рупора элит, голос которых поэтому звучит наиболее громко, тогда как представителей других социальных слоев практически не слышно<sup>21</sup>.

Это обстоятельство меняет социальный статус самих работников массмедиа, прежде всего, журналистов; видные представители этой профессии сегодня — и в значительно большей, чем раньше, степени — принадлежат к истеблишменту, то есть властвующей, или правящей, элите, представляя собой особый и весьма важный «отряд» этой сравнительно незначительной по численности, но весьма значимой по ее роли в жизни общества социальной группы.

Элита — социальная группа, представляющая собой меньшинство, «высшее» в силу своей власти над другими группами или в силу своего влияния в обществе. Правящая элита нередко — обладающая политической властью часть господствующего класса, представители которого выполняют руководящие функции в демократическом порядке. В рамках конкурентной демократии к политическим элитам относят те группы, которые борются за голоса избирателей на политическом рынке, то есть верхушка политических партий.

В то же время надо сказать, что само слово элиты применительно к демократии звучит двусмысленно: ведь цель и идея демократии, сама суть возникновения демократии, цель демократических революций состоит именно в том, чтобы отнять у властвующих их особые привилегии, чтобы ликвидировать группы, слои, классы, имеющие как бы априорное право на власть. Но реальность демократического процесса сложнее теории, она не подтверждает такой подход, показывая, что демократический порядок не исключает, а, наоборот, предполагает существование элит. Мы только и слышим в разных политических контекстах, да и вообще в прессе рассуждения об элитах; словосочетания типа «согласие элит» и т.п. — самые распространенные. Странно, но наше демократическое ухо воспринимает это спокойно.

В политической науке выделяют три основных типа элит: властные элиты, ценностные элиты и функциональные элиты. Властные элиты — это более или менее закрытые группы со специфическими качествами, имеющие властные привилегии. Это «господствующие

---

<sup>21</sup> Curran J., Seaton J. Power Without Responsibility: The Press and Broadcasting in Britain, 5<sup>th</sup> ed. London: Routledge, 1997.

классы» — политические, военные или бюрократические; наиболее близкий и яркий пример властной элиты — советская «номенклатура».

Ценностные элиты (термин ввел основоположник исследований в этой области — философ и социолог Альфред Вебер, брат Макса Вебера) — это творческие группы, влияние которых на установки и взгляды широких масс позволяет причислять их к элитам: в их числе видные философы и ученые, выступающие в роли экспертов и советников власти, то есть интеллигенция в широком смысле слова, к которой относимы и журналисты, и современные политтехнологи.

Наконец, функциональные элиты — это влиятельные группы, которые в ходе конкуренции выделяются из широких слоев общества и перенимают важные функции в социальном порядке; это сравнительно открытые группы, вступление в них требует определенных достижений. К ним относятся представители большой науки или менеджеры, формирующие, согласно К. Гэлбрейту, техноструктуру современного общества.

Для наших целей наибольший интерес представляют именно *ценностные элиты*, куда входят и журналисты, представители которых формируют ценностную и смысловую сферу общества, наделяя мир и жизнь смыслом. Впоследствии возникает разработанное немецким социологом Хельмутом Шельски представление о *рефлексивных элитах*: функционально это стоящие параллельно производителям товаров «производители смыслов», доминирующие в таких сферах, как образование, общественное мнение, информация, и по своему положению воздействующие на сознание людей. Монополизировав смысл жизни, мировоззрение, оценки событий, постановки жизненных целей и т.д., эти «производители смысла» образовали, по Шельски, новую систему господства — духовного господства, что позволяет им удовлетворять также и свои властные амбиции. (Подробно содержание и структура системы рефлексивной элиты рассмотрены Х. Шельски в очень интересной и содержательной книге с характерным названием «Работу делают другие. Классовая борьба и господство интеллектуалов».)

Как видим, социальное положение журналистов, составляющих часть рефлексивной элиты современного общества, в котором они реально выполняют важную функцию проектирования информационно-коммуникационных сетей глобализирующегося мира и их ис-

пользования для трансляции создаваемых смыслов, подпитывает их убеждение в реальности существования у них властных функций. В общем и целом наличие элит действительно свидетельствует о том, что в демократии имеют место структуры господства.

Следует отметить, что именно убеждение журналистов, что они — «рупор общества», стало основой, на которой и держалась более двухсот лет концепция «четвертой власти», имплицитно предполагающая наличие реального «права голоса» за журналистами, транслирующими аудитории «самое важное». Ныне ситуация кардинально изменилась, по крайней мере, в двух отношениях. Во-первых, технологическое развитие привело к обретению аудиторией собственного голоса, который невозможно игнорировать, что не вписывается в рамки традиционного медиадискурса, осуществлявшегося в виде одностороннего потока информации — от создателя к потребителю. Во-вторых, сами журналисты считают себя не «наблюдателями фактов», но «создателями смыслов», претендуя тем самым на роль уже не «четвертой», а, по крайней мере, «второй» власти. И этому есть определенные основания, связанные с реальным изменением власти.

Несмотря на то, что СМИ принадлежит информационная (символическая) власть не юридически, а преимущественно по праву инициативы, «игры на опережение», их влияние на общественное сознание столь велико, что самим государством нередко манипулируют силы, способные использовать СМИ в своих целях. Государство не всегда может контролировать процессы реальной действительности, и тогда «функцию управления этой реальностью приобретают те, кто может предложить более совершенную коммуникативную структуру, лучшие и более действенные технологии работы с общественным сознанием»<sup>22</sup>. И в этом — одна из особенностей современной демократии как процесса, предполагающего расширение ее основ, — перераспределение власти от (политической) власти как таковой к другим индивидам и общественным группам.

Кроме уже отмеченных свидетельств особого положения журналистов в обществе, входящих в функциональные элиты, и их права задавать вопросы власти существует еще ряд особенностей социаль-

<sup>22</sup> Дацюк С. Аналитика СМИ — четвертая власть // Русский журнал. 1998. 3 февраля (<http://www.russ.ru/journal/media>).

но-политического характера, позволяющих этой профессиональной группе небеспочвенно претендовать на особую власть.

Как известно, основу современного демократического политического процесса составляет представительство интересов народа, который *делегировать* свои полномочия власти в ходе *выборов* — базовой законодательно оформленной процедуры передачи власти. В ходе этой процедуры граждане, обладающие правом голоса, то есть участвующие в голосовании, *делегировать* свой голос политикам, «вручая» победителям право властного господства, признавая за ними возможность «отдавать приказы», то есть управлять. Соответствие процедуры выборов действующей в стране Конституции как основному закону, так же, как и осуществление власти в соответствии с этим законом, означает *легальность*, а поддержка власти «снизу», доверие народа, без которого власть не может успешно выполнять свои функции в обществе, — *легитимность* власти. Единство этих двух составляющих и обеспечивает нормальное развитие современного политического демократического процесса. Политики, таким образом, получают мандат на власть в ходе демократической процедуры выборов. В противоположность политикам журналисты приобретают «право власти» в процессе инкорпорирования (встраивания) в профессиональное сообщество, то есть получают власть, как мы уже отмечали, путем «самозахвата», ибо их не выбирают.

Еще одно, может быть, более значимое для социальной практики различие между этими «отрядами» «властвующих элит» (Ч. Райт Миллс) состоит в *ответственности* каждого из «отрядов»: политики, даже если избиратели игнорируют их ошибки, в конечном счете, ответственны пред историей, которая в лице будущих поколений выносит суждение об их деятельности, иными словами, политик всегда несвободен (пусть хотя бы в регулятивном смысле). Журналисты же, в общем, свободны от ответственности. Свобода эта реализуется в их практически ничем не регулируемом праве задавать вопросы власти, и эта свобода их — ключ к безответственной власти журналистов над обществом.

Если подойти к делу шире, то неизбежной представляется ситуация, когда одни граждане (журналисты) выражают через массмедиа интересы других, обладающих ресурсами, позволяющими им получить доступ к средствам массовой информации, что означает неизбежность искажения точек зрения (мнений), существующих в обще-

стве. Иначе говоря, СМИ в данном случае предстают как *специфический посредник, который не выбирается в рамках демократических процедур*. Таким образом, возникает реальное противоречие между свободой выбора, осуществляемой инвесторами и владельцами медийной собственности, различными группами давления, обладающими возможностями воздействия на СМИ, с одной стороны, и отсутствием свободы выбора у граждан, получающих информацию от ангажированных массмедиа, — с другой. Все вышеперечисленное и выступает практическим ограничителем для применения традиционного представления о свободе печати в современном мире.

Можно выделить, по крайней мере, четыре источника, дающих журналистам власть в современном обществе. Во-первых, они создают новую реальность, в известном смысле более реальную, чем привычная реальность, воспринимаемая органами чувств без посредства медиа. Это обусловлено нарастанием и разрастанием в информационном потоке визуальных образов: более 70 процентов сообщений, транслируемых современными медиа, прежде всего, основным визуальным каналом — телевидением, носит именно визуальный характер. И связано это, в первую очередь, с особенностью этих каналов, способных передавать значительно больше информации (хотя и не столь многозначной по сравнению с вербальной, где всегда наличествует подтекст).

Весьма плодотворными в рассматриваемом контексте оказались идеи Маршалла Маклюэна о принципиально новом влиянии электронных медиа на человеческий опыт, дополненные впоследствии американским исследователем Джошуа Мееровичем<sup>23</sup>. Маклюэн впервые сфокусировал внимание на том, *как* мы переживаем окружающий мир, формируемый медиа, введя понятие сенсорного баланса. Меерович обратился к проблеме, оставленной «гуру электронных медиа» (так в последние годы жизни называли Маршалла Маклюэна) за скобками, а именно к проблеме изменяющегося в ходе воздействия СМИ *содержания* человеческого опыта, то есть того, *что* мы переживаем. Его тезис состоит в том, что всепроникающая сущность электронных медиа фундаментально изменила социальный опыт современного человека, разрушив перегородки между социаль-

<sup>23</sup> Meyrowitz J. No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior. N. Y.: Oxford University Press. 1985. P. 272.

ными пространствами, существовавшими ранее. Традиционный человеческий опыт сегментирован в зависимости от социальных ролей и жизненных ситуаций и резко разделен на приватное, или задний план (backstage) и публичное, или передний план (onstage). Сегментация происходит по возрасту, социальному полу (гендеру) и социальным статусам, и «стенки» между зонами опыта очень высоки. Новые электронные медиа, прежде всего телевидение, выносят все аспекты опыта напоказ для всех без различия: больше нет секретов относительно взрослости, смерти, секса или власти, что позволяет говорить о своеобразной «*медиализации опыта*» современного человека. Если говорить о политике, то, подчеркивает Меерович, телевидению принадлежит особая роль как средству, кардинально изменившему взаимодействие граждан с политиками: исчезла всегда существовавшая между ними дистанция — зритель наблюдает человеческие проявления в поведении политика (почесался, сморкнулся и под.). Этот процесс снижения правящих до уровня обыденности обозначен Мееровичем как парадокс «исчезающей истины»<sup>24</sup>.

Второй источник власти для журналистов — это отмечавшаяся нами в предыдущем разделе децентрализация политической власти и тем самым ее ослабление. Современные сложные общества характеризуются «перетеканием» властных полномочий, традиционно рассматриваемых как прерогатива властвующей элиты, к другим — новым — группам и движениям.

Третий источник — «перехват» доверия публики путем скандальных разоблачений — основной метод расследовательской журналистики. Разоблачение — принципиальное орудие всех массмедиа с момента их возникновения, однако его роль резко усиливается в условиях глобализации.

Четвертый источник — новая роль медиа, которые в рыночном государстве начинают играть роль, подобную роли левых партий в прежнем национальном государстве, — не в идейном плане, поскольку современные СМИ скорее можно отнести к правому спектру политики, но содержательно, ибо именно левые всегда *задавали вопросы и разоблачали авторитет*. Это обстоятельство определяло влияние оппозиционных изданий левого толка, которые, несмотря на сохраняющуюся на протяжении истории развития демократического об-

<sup>24</sup> Meyrowitz J. No sense of place... P. 253.

щества безответственность журналистов (не юридическую, однако, подчеркнем, сущностную), играли все же важную роль.

Но, как представляется, главную основу реальной власти медиа составляет отмечающаяся ныне фактическая *монополия* журналистов как на средства производства и широкое распространение информации, так и *на доступ* к этому «публичному пространству» всей остальной публики. Именно журналисты обладают сейчас властью над средствами публичного самовыражения и технологиями публичного признания.

## 5. Интеллектуалы, журналисты, эксперты

Едва ли не ключевая роль в политическом дискурсе принадлежит сегодня экспертам, а признанием их значения является квалификация их в качестве «творцов новой реальности».

Изменения в обществе, повлекшие за собой двуединый процесс — медиализации политики и политизации медиа, кардинально изменили не только роль журналиста, превратившегося в исторически нового «сильного» актора на политическом поле, но и отразились на содержании профессии журналиста. Теперь он выступает не транслятором информации, но «создателем смыслов», осуществляя не столько контроль над властью, сколько тиражируя властные импульсы и предлагая их обществу в качестве несущих истину.

Все это не может не оказывать влияния на профессиональную культуру журналистов, претерпевающую весьма существенные изменения под влиянием «журналистики сиюминутности» и работы в реальном времени. И прежде всего это сказывается на способах подачи новостей. Практически исчезли существовавшие ранее различия между фактом и мнением — так же, как между простым сообщением и статьей: традиционное требование объективного журнализма «сообщать факты как факты, а мнения как мнения» все более вытесняется более или менее завуалированным изложением журналистом той или иной точки зрения, что заметно облегчает смену профессиональных ролей — от информации к экспертизе. Общее впечатление таково, что журналистика отходит от профессиональных стандартов точности и объективности. Хотя, как правило, журналисты по-пре-

жнему стараются следовать неписаному требованию профессионального кодекса — представлять в публикациях противоположные точки зрения на сложные проблемы; это, пожалуй, единственное оставшееся препятствие на пути превращения печатных изданий в прямых «проводников» тех или иных интересов. Тем не менее пусть несовершенная и даже сужающаяся практика сбалансированного представления разных точек зрения фиксирует тот важный факт, что пресса всегда отражает изменения, происходящие в политическом пространстве.

Изменение социальной роли журналиста привело к тому, что он, выступая как «сильный игрок» на политическом поле и «создатель смыслов», тем самым принимает на себя — обычно имплицитно, но в последнее время все более открыто — не свойственные ему функции *эксперта*. Но может ли журналист выполнять эти функции? Ответ на вопрос предполагает выяснение и разъяснение двух проблем: во-первых, что такое экспертиза и кто такой эксперт, во-вторых, есть ли различие между журналистикой и экспертизой, и если да, то что позволяет журналисту играть роль, не свойственную ему изначально.

Согласно словарям, эксперт (лат. *expertus* — опытный) — это профессионал, то есть человек, получивший специальное образование, а потому являющийся специалистом в какой-либо области знаний, производящий экспертизу (например, судебный эксперт), а экспертиза — это исследование какого-либо вопроса, требующего специальных знаний, с представлением мотивированного заключения (врачебная, бухгалтерская и т.п.)<sup>25</sup>. Теснейшим образом с понятием экспертизы связано понятие компетенции, поскольку экспертное знание — всегда компетентное (лат. *competens* — соответствующий, способный; *competentia* — принадлежность по праву). Компетенция, согласно теории бюрократии Макса Вебера, — это круг полномочий какого-либо органа или должностного лица, то есть круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом. Иными словами, эксперт — это всегда *профессионал в конкретной области знаний*, соответственно, экспертное знание — особое, специализированное, каким не обладает «обычный» человек «с улицы». Более того, эксперт, будучи профессиональным интерпретатором «сложных слу-

<sup>25</sup> Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1987. С. 575.

чаев», а именно в таких ситуациях и обращаются к нему за помощью, в состоянии использовать свою компетенцию, то есть знания и *опыт*, для заполнения существующей в этой трудной ситуации лакуны между теорией и практикой, предлагая варианты решения (разрешения) возникших трудностей. Таким образом, экспертиза является необходимой пропедевтической процедурой при принятии решений в политическом анализе, представляя собой интеллектуальную проработку (рефлексию) политических решений.

Кто такие эксперты? Этот простой, на первый взгляд, вопрос на самом деле отнюдь не прост. Так, экспертов нередко ставят в один ряд с интеллектуалами и учеными. Если с ученым все более или менее ясно: для него естественно фундаментальное образование и профессиональная занятость в сфере науки, то с интеллектуалами все гораздо более расплывчато. Так, по мнению Бохеньского, интеллектуалом является человек, который (1) получил академическое или подобное ему образование, (2) никак не связан с хозяйственной жизнью и, прежде всего, не является рабочим, (3) выступает публично и стремится стать *авторитетом* в вопросах морали, политики, философии и *мировоззрения*<sup>26</sup>. По мнению Бохеньского, чаще всего в качестве интеллектуалов выступают журналисты, литераторы и художники, «но среди них можно обнаружить также профессоров университетов, прежде всего тех, кто подписывает коллективные манифесты социально-политического и нравственного содержания»<sup>27</sup>. Уважение к интеллектуалам Бохеньский склонен расценивать как *суеверие и заблуждение*, поскольку оно ни на чем реальном не основано, но представляет собой перенос научного авторитета из их профессиональной сферы (если речь идет об университетских профессорах) на области этики, политики и мировоззрения, где они являются дилетантами; когда же речь идет о писателях и художниках, то на них распространяется уважение к литературе и искусству. Именно распространенность этого заблуждения позволяет интеллектуалам играть решающую роль в общественной жизни; в частности, они руководили многими революциями, которые — вопреки господствующему мнению — почти всегда были, в первую очередь, делом интеллектуалов, а не народных масс.

<sup>26</sup> Бохеньский Ю. Сто суеверий. Краткий философский словарь предрассудков. М.: Издательская группа «Прогресс» Via, 1993. С. 66.

<sup>27</sup> Бохеньский Ю. Сто суеверий. С. 67.



Интеллектуалы как социально активная группа носителей знаний имели значительное влияние в обществе, что обеспечивалось, в первую очередь, статусом науки со времен ее возникновения в качестве идеала знания в Новое время. Но кроме этого за интеллектуалами сохраняется признание их носителями морального авторитета (они, как сейчас говорят, лидеры мнений). Обратившись к истории складывания новоевропейской науки, можно сказать, что в самом понятии «интеллектуал» не только присутствует высокий позитивный оценочный компонент, но и отражается «историческая память» масс, всегда испытывавших уважение к систематическому образованию, традиционно бывшему привилегией высших слоев (разве не связь авторитета и знания зафиксировал Роджер Бэкон в своем знаменитом «знание — сила»?).

И еще одно соображение: говоря о классической науке, мы склонны воспринимать ее как главное орудие освобождения человека от власти религиозных предрассудков, магических суеверий, как средство *рационализации* мира, то есть сводить ее к веберовскому «расколдовыванию». Смысл этой «интеллектуалистской рационализации посредством науки и научной техники» в том, что человек может увидеть, что «нет больше принципиально непознаваемых таинственных сил, вмещающихся в жизнь, что он может в принципе овладеть посредством рационального расчета всеми вещами»<sup>28</sup>. При этом забывается теснейшее родство науки с гуманизмом высокого Возрождения, ценности которого вошли в характеристики жизненного стиля классической науки, включая в себя наряду с объективностью познания, стремлением к истине, требованиями экспериментального и эмпирического обоснования и признания ценности прогресса науки также требование использовать знания во благо общества.

За истекшие столетия последнее требование как-то незаметно отошло на задний план, вытесненное вниманием к эффективности научных исследований, но в остальном наука удержала свой идеальный образ и те идеальные ценности, что были положены в ее основу учеными джентльменами, создателями Королевского общества — первого объединения ученых, возникшего в 1622 г. В Англии. Более того, наука распространила эти ценности и на многие другие сферы и области индивидуальной и социальной человеческой жизни. Мы жи-

<sup>28</sup> Weber M. *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Stuttgart, 1986. S. 594.

вам в невероятно «онаученном» обществе. Прилагательное «научный» является синонимом слов «лучший», «высококачественный» — вообще «предпочитаемый». Это означает, что научность, понимаемая как истинность, объективность, непредвзятость, заняла едва ли не самое высокое место в иерархии социальных ценностей. «Научно доказанное» утверждение — это окончательное утверждение, не подлежащее сомнению и обжалованию, что и придает значимость научным утверждениям. Это изменение в ценностных системах произошло, конечно, не в силу какой-то субъективистской экспансии воли научного сообщества, а по причине той самой высочайшей эффективности науки, приведшей к кардинальным изменениям в образе жизни и предметно-материальной среде существования человека. Таким образом, роль и авторитет интеллектуалов в политической жизни обусловлены переносом на них авторитета самой науки.

В процессе исторического развития роль советников власти играли попеременно философы, жрецы, клирики, овладевавшие тайными рычагами воздействия на ход политики. Явным это влияние становится с началом Просвещения, когда выдающиеся французские и английские мыслители — Джон Локк, Томас Гоббс, Вольтер, Жан-Жак Руссо, Дени Дидро и другие — в своих трактатах сформулировали основные принципы построения западных демократий, став первыми публичными интеллектуалами.

Но, пожалуй, первой специфической социальной группой, состоящей из «профессиональных» интеллектуалов, существующих за счет «оказания наемных услуг на поприще писания памфлетов», стали представители консервативного романтизма — направления, сложившегося в Германии в начале XIX в. Карл Мангейм относил таких людей к «свободно парящей интеллигенции», поскольку они, не будучи необходимо, то есть жизненно и материально, связаны ни с одной из борющихся в то время политических сил, брали на себя функции формирования их мировоззрений и политических идеологий. По словам Мангейма, они были готовы «узаконить любое дело и любые обстоятельства»<sup>29</sup>. Они просто «продавали свои перья какому-либо правительству». «Этот тип идеологов находит аргументы в пользу всякого политического дела, которому служат по случаю. Их собствен-

<sup>29</sup> Мангейм К. Консервативная мысль // Мангейм К. *Диагноз нашего времени*. М.: Юрист, 1994. С. 623.

ное социальное положение не связывает их никоим образом. Они обладают невиданно сильно развитым чутьем к окружающим их политическим и социальным течениям, способностью найти подход и внедриться в них. <...> пусть только возьмется за какое-нибудь дело, пусть только примут как свои чьи-нибудь интересы — и будут разбираться в этом лучше, определенно лучше, чем те, кому эти интересы были навязаны самой действительностью, их социальным положением». Романтики обладали особой восприимчивостью и «чутьем на перемены... в духовной и интеллектуальной жизни общества», что позволяло им «вскрывать проблему и бросать ее в водоворот дискуссии»<sup>30</sup>.

Если приглядеться внимательно, обнаружится разительное сходство со способом мышления и представлением о реальности, свойственными современной «свободно парящей интеллигенции» — все увеличивающегося в размерах слоя политических консультантов, имиджмейкеров, ньюсмейкеров и журналистов, создающих современную «культуру продвижения». Эти «интеллектуалы-специалисты» к началу XXI в. заняли собственную нишу в здании политики, превратившись в равноправных игроков на политическом поле, а их отношения с политиками приняли традиционную для рыночных отношений форму — клиент (заказчик) и исполнитель (эксперт).

Идеи Бохенского об интеллектуалах остались не усвоенными в современной политической науке, поэтому до сих пор, говоря об интеллектуалах, часто смешивают научный авторитет ученых и моральный авторитет интеллектуалов как лидеров мнений, примером чего является позиция итальянского политолога Н. Боббио, для которого в фигуре интеллектуала объединены как миссия сохранения нравственных ценностей, так и интеллектуальная проработка (рефлексия) политических решений. Основным сферам применения интеллектуального труда в политике — консультированию и выработке идеологий — соответствуют, по его мнению, два типа интеллектуалов: эксперты и идеологи<sup>31</sup>. Если идеологи поставляют руководящие принципы и подчиняются этике «добрых устремлений», то эксперты обеспечивают (должны обеспечивать) средства и технологии, следуя принципам этики ответственности — по Максус Веберу. Близкие идеи

<sup>30</sup> Мангейм К. Консервативная мысль. С. 624.

<sup>31</sup> Боббио Н. Интеллектуалы и власть // Вопросы философии. 1992. № 6. С. 162.

развивал и Ральф Дарендорф, по мысли которого, интеллектуалы, несмотря на близость к власти, должны быть независимы от нее, чтобы иметь возможность объективно оценивать ее действия и защищать интересы общества, за которое они — в качестве его граждан — несут ответственность. В своих публичных выступлениях интеллектуалы апеллируют как к политикам, так и к гражданам с целью вовлечь тех и других в дискуссию, то есть выполняют функцию медиатора между политиками и обществом<sup>32</sup>.

В современных медиа роль эксперта весьма велика, и он, как правило, един в нескольких ипостасях, наиболее из них заметные — ньюсмейкер и медиаэксперт. Поскольку современное медийное пространство — высококонкурентная среда, в которой выживает тот, кто первым сообщает новую и эксклюзивную информацию, то эксперт, будучи близок к истокам политической информации, оказывается весьма значимой для медиа фигурой, сам выступая источником новостей. Естественно, подлинной инсайдерской информацией он вряд ли поделится, он скорее предоставит («сошьет») под видом «оплошности» заранее согласованную с работодателем дезинформацию. Но все равно эксперт-ньюсмейкер — не только источник информации: его мнение авторитетно и может придать убедительности доводам журналиста, подкрепить (или опровергнуть) точку зрения последнего. Более того, эксперты нередко используют свои позиции для планомерного и непрерывного повторения некоторых идей или тезисов, оказывая тем самым почти гипнотическое воздействие на журналистов, проникающихся верой в значимость повторяемого, произносимого авторитетным человеком «оттуда», влияя тем самым на формирование повестки дня. Заметна тенденция «вклинивания» экспертов в чужое поле — они все чаще публикуют собственные статьи, тесня профессиональных журналистов на страницах газет и журналов. Однако специфический стиль изложения — излишняя для массовой аудитории языковая сложность и разность тезаурусов — препятствуют захвату экспертами поля журналистики.

Наряду с этим наблюдается и противоположная тенденция — превращение журналиста-аналитика в комментатора-эксперта. Связано это не только со сложностью донесения до массовой аудитории мыс-

<sup>32</sup> Дарендорф Р. Гражданская ответственность интеллектуалов перед обществом: против новой боязни просвещения // После 1989 года. Размышления о революциях в Европе. М.: Ad Marginem, 1998.

лей эксперта и понимания ею его идей, но с более глубоким и довольно печальным процессом — потерей у большинства массовых СМИ интереса к реальной и глубокой экспертной оценке, а у качественных СМИ — с уменьшением доверия к экспертам из-за их ангажированности и пристрастности. В этих условиях место эксперта все чаще занимает журналист-аналитик, значительно более свободный в суждениях и оценках, чем эксперт: прежде всего, он дистанцирован от политической «кухни» и хорошо представляет себе механизм функционирования своего издания. Однако включение журналиста в процесс формирования политики при отсутствии у него необходимых для этого знаний и опыта снижает и без того невысокий уровень понимания им политических реалий.

Вновь вернемся к Бохеньскому, давшему в своем «Словаре суеверий» такое определение журналиста: «Человек, специализирующийся на так называемых средствах массовой информации: журналах, газетах, телевидении, радио и т. д. Задачей средств массовой информации, как следует из самого названия, является передача информации массам. Так что журналист — это рецензент, и более никто. Он является специалистом по сбору, изложению и передаче информации. И пока он этим занимается, его труд полезен и упрекнуть его не в чем. Однако за последние сто лет журналисты присвоили себе иную функцию и выступают теперь в роли учителей, проповедников морали. Они не просто информируют читателей и слушателей о том, что произошло; как им кажется, они вправе поучать, что должно думать и делать. А поскольку взгляды журналистов имеют массовое распространение, они оказываются в привилегированном положении, приобретая настоящую монополию на решение вопросов»<sup>33</sup>.

Не в последнюю очередь это связано с демократическим характером большинства современных обществ, в условиях которых деятельность медиа ориентирована на обеспечение свободы мнения, информационных и прочих, связанных с получением информации (то есть знаний), прав личности. В рамках этого порядка речь идет исключительно о *повседневном знании*, то есть о мнениях, взглядах, точках зрения, суждениях, теориях, мировоззрениях и позициях, не окрашенных квалификационными признаками научного знания,

<sup>33</sup> Бохеньский Ю. Сто суеверий. С. 37.

среди которых: истинность, обоснованность, рациональность и подобные им другие.

Именно средства массовой коммуникации и распространяют повседневное знание, обладающее следующими характеристиками: во-первых, оно *всеохватно*, включая в себя практически все, что формирует мир индивидуума (за исключением сферы его профессиональной деятельности как эксперта); во-вторых, это знание носит *практический характер*, поскольку служит реальным жизненным целям; в-третьих — это главное — оно *нерефлексировано*, то есть принимается *на веру*, не требуя систематических аргументов и доказательств (подтверждение тому — банальный, но до сих пор весьма распространенный стереотип: «если об этом пишут в газете (говорят по телевидению), значит это правда»<sup>34</sup>. Для нас крайне важно именно последнее обстоятельство, поскольку императивом деятельности масс-медиа является именно информирование, то есть максимально широкое представление сведений, а не селекция знаний.

Эта изначальная двойственность журналистской позиции усугубляется сейчас, когда журналисты оказываются экспертами по определению (в силу их позиции в социальном поле), но являются ли они экспертами по сути? Журналисты не обладают таким профессиональными знаниями, за исключением сферы своей профессии, которая также требует специальных навыков, в частности — знания литературы и чувства языка как умения писать, развитой интуиции, позволяющей чутко реагировать на «злобу дня», и массы других важных и нелегко достижимых вещей, однако научное знание в их число не входит. Поэтому журналисты высказывают суждения «по понятиям», основываясь на повседневном знании.

Все, что мы знаем об окружающем мире, мы знаем из медиа. Особенно отчетливо истинность этого утверждения подтверждается в сфере политики. Для подавляющего большинства политика оказывается тем, что *позволяют* нам увидеть медиа, журналист выполняет здесь традиционную функцию прямого посредника, интервьюирующего представителя власти. Кроме того, не стоит забывать, что масс-медиа представляют собой, по П. Бурдье, *идеологическое* производство — «относительно автономный мир, где вырабатываются в конкуренции и конфликте инструменты осмысления социального мира,

<sup>34</sup> Huff D. How to Lie with Statistics. N. Y.: W. W. Norton, 1954.

объективно имеющиеся в наличии в данный момент времени, и где в то же время определяется *поле политически мыслимого*, если угодно, *легитимная проблематика*<sup>35</sup>.

Для понимания проблемы разграничения журналистской и экспертной деятельности, то есть для понимания того, является ли журналист экспертом, надо определить, отвечают ли транслируемые им смыслы требованиям научного суждения. Здесь полезно обратиться к идеям Альфреда Шюца, который, анализируя проблему социального распределения знания, по-видимому, не случайно прибегает к традиционному для классической либеральной мысли понятию «хорошо информированного гражданина»<sup>36</sup>. Именно такой гражданин, как мы уже отмечали выше, является подлинной основой демократического порядка, ибо способен «принимать решения со знанием дела». Выделяя «хорошо информированного гражданина» в качестве одного из идеальных типов исследования, Шюц помещает его посередине, между двумя другими, до известной степени представляющими собой стороны бинарной оппозиции: «экспертом» и «человеком с улицы». Если эксперт — представитель научной рациональности, знание которого «ясно и определено», то «человек с улицы» — носитель практического знания, то есть «рецептов того, как в типических ситуациях добиваться типичных результатов типичными средствами»<sup>37</sup>, в вопросах же, не связанных с практическими целями, то есть тех, в которых он не заинтересован непосредственно, этот человек «руководствуется своими чувствами и страстями». Так вот, журналист — это, конечно же, «гражданин, который стремится быть хорошо информированным»: не обладая, но стремясь обладать знанием эксперта, он «не принимает фундаментальной неопределенности простого знания рецептов или же иррациональности своих непроясненных страстей и чувств»; для него существенно «иметь разумно обоснованные мнения» в областях, которые представляют для него интерес<sup>38</sup>. Потому профессиональные журна-

<sup>35</sup> Бурдьё П. Делегирование и политический фетишизм // Бурдьё П. Социология политики. Пер. с фр. М.: Socio-Logos, 1993. С. 232.

<sup>36</sup> Шюц А. Хорошо информированный гражданин. Очерк о социальном распределении знания // Шюц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. С. 222–237.

<sup>37</sup> Шюц А. Хорошо информированный гражданин. С. 224.

<sup>38</sup> Там же. С. 225.

листы и обращаются к экспертам — чтобы создать «разумно обоснованные мнения», которые можно было бы затем транслировать аудитории.

В качестве такого приглашенного эксперта, как правило, выступает представитель науки, и ее авторитет переносится с института на его представителей. При этом сама наука приобретает для «человека с улицы» характер *магии*: всеобщим является скорее научная «неграмотность» подавляющего большинства населения, ибо люди знают, как использовать научные результаты (технические воплощения научных открытий оказываются типичным «черным ящиком»), но не знают, как и почему они работают, сами же «научные» представления приобретают для большинства метафорический характер (например, представления об электрическом «токе», атомном «ядре», электронах и т.п.). Наука оказывается не столько «расколдовыванием» мира, как полагал М. Вебер, сколько его научным заколдовыванием, или «новой непрозрачностью» (как определил это состояние современности Ю. Хабермас), ключи от которой находятся в руках избранных, каковыми представляются ученые. Но «магический» характер современной науки дополняется стилизацией ее в массовом сознании под главного носителя человеческого спасения. Если еще принять во внимание склонность некоторых членов научного сообщества появляться в роли гуру и провидцев — экспертов на телеэкранах и в газетах со своими версиями окончательной истины, а также массовую веру в то, что наука эти истины знает, то смело можно говорить о том, что наука, устами своих пророков возвестившая эпоху освобождения от религии и суеверий, сама переняла существенные функции религии, стала религией нашего времени, а перенос научной харизмы на «*медиатических интеллектуалов*» (термин П. Бурдьё) сопоставим с процессом «рутинизации» политической харизмы.

Логика культурного производства все более подпадает под влияние логики функционирования телевидения и других средств массовой информации с их тенденцией к получению быстрой прибыли, захватом новых рынков, обращением к максимально широкому зрителю и читателю. Причем этот процесс охватывает не только «зрелищные» области литературы, но и «высокую» литературу, художественную критику и даже поле науки, прежде всего — социально-гуманитарные. Так, социология и философия больше не представляют собой области, закрытые для журналистов. Последние все

более втягиваются в гуманитарные исследования, предлагая свое видение тех или иных профессиональных проблем, вынося собственные суждения по поводу отдельных ученых и их взглядов. Более того, журналисты, желающие создать себе имидж интеллектуалов, стремятся пригласить на свою передачу ученых, организовать дискуссию и т.п. С другой стороны, многие интеллектуалы, исследователи, университетские преподаватели сами стремятся попасть на экран телевизора или на страницы газет, чтобы получить внешнюю, независимую от собственной профессиональной среды поддержку своим идеям.

Появляются так называемые «медиаинтеллектуалы», чей специфический научный капитал сравнительно мал, однако в силу способности к «быстромыслию» именно они выступают в качестве постоянных участников различных «интеллектуальных» теле- и радиопрограмм. «Для некоторых из наших философов (и писателей), — замечает Бурдьё, — “быть” значит быть показанным по телевизору, то есть в итоге быть замеченным журналистами или, как говорят, находиться на хорошем счету у журналистов (что невозможно без компромиссов и самокомпроматации)»<sup>39</sup>. Невозможно в связи с этой оценкой Бурдьё не вспомнить слова Людвига Витгенштейна: «Философствуя, мы уподобляемся дикарям, примитивным людям, которые слышат выражения цивилизованных людей, дают им неверные толкования и затем извлекают из своего толкования страннейшие выводы»<sup>40</sup>.

Таким образом возникает совместное научно-журналистское поле (Шампань), характеризующееся сближением компетенций эксперта-ученого и журналиста. В той легкости, с какой многие ученые конвертируют свой научный статус в привилегию известности, и какой многие журналисты обладают по праву принадлежности к профессии, — одна из причин, едва ли не самая главная, превращения журналиста в эксперта.

Уже из сказанного видна определенная двойственность в отношении не только самого эксперта, но и его функции. Попробуем ра-

<sup>39</sup> Бурдьё П. О телевидении и журналистике. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002. С. 137.

<sup>40</sup> Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Пер. с англ. М.С. Козловой, Ю.А. Асеева. М.: Гнозис, 1994. С. 161.

зобратся в этом довольно интересном и сложном вопросе, обратившись к идеям Людвига Витгенштейна и Мишеля де Серто<sup>41</sup>.

Витгенштейн был, можно сказать, первым, кто обратил особое внимание на роль экспертов, множущихся в современном обществе в такой степени, что они становятся «обобщенной фигурой», превращаются в некий типаж (почти идеальный тип в веберовском смысле), деятельность которого он анализирует, сталкивая его лицом к лицу с другим персонажем — философом. Между ними, по мнению Витгенштейна, существует амбивалентная связь — то взаимное притяжение, то отталкивание, связанное с тем, что эксперт замещает (и в определенном смысле устраняет) философа — «вчерашнего специалиста в области универсального». Развивая идеи Витгенштейна, Серто выделяет специфику деятельности каждого из них «по осуществлению медиации между знанием и обществом, первый — поскольку вводит свою специализацию в более широкую и сложную область социополитических решений, второй — поскольку он вновь устанавливает значимость общих вопросов для каждой специальной области (математики, логики, психиатрии, истории и так далее)»<sup>42</sup>. Но только в случае эксперта его компетенция превращается в социальную власть, ибо дифференциация и сегментация научного знания превращают современную науку в новую «магию», доступную только для посвященных, то есть ученых. Это новое «заколдовывание» мира, по меткому выражению Ю. Хабермаса, чрезвычайно «повышает цену» специалистов, которые вынуждены поэтому превращаться в экспертов, то есть в «переводчиков и трансляторов своей компетенции в другие поля». При этом у эксперта возникает внутреннее противоречие, связанное со столкновением двух «законов» его деятельности: закона эффективности, ориентированного на постоянное повышение производительности и потому требующего исполнения специфических предписаний, и социального закона обмена, требующего циркуляции знаний в обществе. Подобное «расщепление» личности

<sup>41</sup> Мишель де Серто (1925–1986) — выдающийся французский историк и философ, к сожалению, крайне мало известный в России, несмотря на то, что именно ему принадлежит (наряду с Пьером Бурдьё) «переоткрытие» понятия практики и пионерская интерпретация роли «слабых агентов» в политическом процессе.

<sup>42</sup> Серто М. Здравый смысл и обыденный язык // Неприкосновенный запас. 2007. № 4 (54). С. 56.

ученого очевидно даже внутри научных лабораторий — когда заходит речь о необходимости выносить суждения о целях исследования, продвижении результатов и финансировании работ, ученый выступает в качестве не столько исследователя, сколько эксперта, поскольку в этом качестве он оказывается за пределами своего особого профессионального опыта. Вопрос, которым задается Мишель де Серто, это вопрос о том, «как им удастся переходить от своей техники — языка, над которым они утвердили свою власть и который регулирует их дискурс, — к более общему (повседневному — *А. Ч.*) языку других ситуаций?»<sup>43</sup>. Как считает Серто, это происходит за счет «любопытной операции, позволяющей «конвертировать» компетенцию во власть», то есть обменивать возможности профессиональной интерпретации на приобретение вненаучного авторитета и влияния. При этом ученый как эксперт попадает в «ловушку власти»: по мере того как его власть распространяется все шире под давлением общественных требований или политической ответственности, он оказывается не только за пределами своей компетенции, но в конечном счете даже лишается ее (в виде признанного научным сообществом авторитета компетентности). Таков, по мнению Серто, всеобщий парадокс власти: «Ей приписывается знание, но этого знания ей как раз и не хватает там, где власть осуществляется». Более того, власть неотделима от «злоупотребления знанием», что Серто считает следствием «социального закона, лишаящего индивида его компетенции, чтобы устанавливать или восстанавливать капитал компетенции коллективной, то есть общего *правдоподобия* (курсив мой. — *А. Ч.*)»<sup>44</sup>.

В процессе трансляции своих экспертных заключений личность ученого постепенно трансформируется: он занимает *место* эксперта, получаемое им по праву обладания специальными знаниями, ценность которых признана социумом; человек оказывается вписан в общий порядок, успешность подчинения которому, то есть принятие предписываемых правил игры, определяется весьма просто — способностью «судить о вопросах, посторонних его технической компетенции, но отнюдь не власти, которую он приобрел через нее, <способностью> ...властно держать речь, которая является теперь уже не функцией знания, но функцией социально-экономического поряд-

<sup>43</sup> Серто М. Здравый смысл и обыденный язык. С. 58.

<sup>44</sup> Там же.

ка. Он говорит в качестве обычного человека, который может получить власть в обмен на знание, как получают плату за работу»<sup>45</sup>. Вписавшись в общий язык повседневных практик, он заставляет других верить (а возможно, верит и сам), что он продолжает действовать в качестве ученого, на деле в этой ситуации он начинает смешивать социальное *место* и специализированный, то есть научный дискурс, принимая одно за другое. В результате «он больше не знает *того, что* говорит», поскольку, получив свои полномочия благодаря науке, под давлением места он отрывается от ее почвы, переходя на обыденный язык «тактических игр, разворачивающихся между экономической и символической властью». Так научный (или философский) авторитет как привилегия теряется в обыденном, а следствием этой потери оказывается упразднение истин, ибо ей уже неоткуда получать свое значение. На этом опустевшем месте существуют *факты*, которые больше не являются истинами. Однако появляется новая инстанция, не допускающая абсолютного обесценивания научных истин путем контролируемой инфляции, — это *места власти*, где факты превращаются в истины. Одним из таких *мест власти* в современном мире и выступают медиа, что является наилучшим доказательством вытеснения подлинного экспертного знания из медийного пространства.

## 6. «Трансформация», «реформа», «демократия» и «глобализация» как медиасимволы

Экспертиза и комментарии при всей сложности и даже двусмысленности этих процессов представляют собой в общем и целом процессы *интерпретации* актуальных событий. Практика СМИ состоит в том, что разные социальные группы пытаются *навязать* обществу свою модель интерпретации того или иного события. Процессы интерпретации играют центральную роль в деятельности современных СМИ, осуществляясь на когнитивном и культурном уровнях сознания и деятельности. На этих уровнях происходит приспособление информации, передаваемой СМИ, к жизненному опыту и убеждениям индивида и формирование общественного мнения.

<sup>45</sup> Там же. С. 61.

Проанализировать символический характер интерпретаций медиа хотелось бы на основе понятий, вынесенных в название раздела, прежде всего, потому, что благодаря этому наряду с уже артикулированной формальной задачей выявить структуру медиаинтерпретаций открывается возможность содержательного анализа работы экспертов в медиaprостранстве.

Начнем с понятия *трансформации*, которое активно использовалось и используется западными политологами для описания и анализа процессов перехода России и стран Восточной Европы к рынку и демократическим политическим институтам, а также стало «символом веры» и отечественных реформаторов. Собственно теория трансформации базируется на нескольких допущениях, не формулируемых явно, но принимаемых как универсальные.

Первое и основное допущение касается *направления* трансформации: институциональный порядок, который возникает в процессе перехода, в общем и целом должен воспроизвести институциональный порядок современных западных демократических обществ. Это предполагает формирование системы представительной демократии, осуществление принципа разделения властей, реорганизацию судебной власти, формирование органов конституционного надзора, возникновение т.н. интермедиарных систем выражения социальных интересов, которые должны составить базис складывающегося гражданского общества. Соответствующие изменения должны произойти и в экономической сфере: при посредстве государства должно быть осуществлено разгосударствление и приватизация предприятий, децентрализация и демонополизация хозяйственного управления, формирование соответствующих налоговых систем и т.д. Одновременно необходимо полностью перестроить социальную систему, что означает кардинальную реорганизацию практически всех сфер жизни на принципиально иных, по сравнению с существующими, основаниях. Взамен разрушенных государственных должны быть созданы новые системы социального обеспечения, основанные на частном интересе, но регулируемые и поддерживаемые государством: здравоохранение, образование, пенсионная система, система гарантий в случае безработицы. Параллельно формируется правовой механизм реализации этих изменений.

Вторым неявным, но столь же общепринятым является допущение, что все вышеперечисленные процессы должны происходить *одновременно*. Основа этого допущения — господствующее в социаль-

ной науке представление о системном характере общества, согласно которому изменение в каком-то одном сегменте неизбежно вызывает вполне определенные, системно ориентированные изменения в других сегментах.

Эти два допущения порождают ряд парадоксов, типичных для современных исследований общественных трансформаций. Первый можно назвать *парадоксом средств и целей*. В России он проявился в виде ужесточения политического режима на фоне достаточно решительного (несмотря на очевидные ошибки и непоследовательность) реформирования в сфере экономики. Это, во-первых, и разгон парламента, и фактическая ликвидация Конституционного суда в октябре 1993 г.; во-вторых, остановка и откат назад процесса политической децентрализации и формирования местного и регионального самоуправления; в-третьих, жесткий контроль за средствами массовой информации, поставленных в финансовую зависимость от правительства. Конституция 1993 г., подготовленная также с нарушениями законодательства, закрепила и стабилизировала уже сложившийся авторитарный режим, по ряду параметров весьма напоминавший политическую структуру самодержавного правления в дореволюционной России.

Сторонники такого пути развития полагали, что иным способом невозможно осуществить переход к рыночным структурам в экономике. Но если данное предположение соответствует истине, это означает, что в ходе создания рыночной экономики утрачивается *демократическая* сущность процесса трансформации. Чем более форсированно осуществляется переход к рынку, тем в большей степени он утрачивает свой политический и социальный смысл, превращаясь, по сути дела, в процесс кардинальной экономической — и только экономической! — модернизации.

Несколько слов в связи с этим о *теории модернизации*, которая традиционно понимается как органическое развитие, мост из «отсталости» в «современность», в основе которой лежит понятие модерна. Можно выделить несколько главных характеристик модернизации, которые обнаруживаются в явном или скрытом виде практически у всех авторов.

Модернизация — *революционный* процесс, ибо он предполагает кардинальный характер изменений, радикальную и тотальную смену всех институтов, систем, структур общества и человеческой жизни. Модернизация — *комплексный* процесс, не сводимый к какому-то

одному аспекту, одной стороне, одному измерению общественной жизни, но захватывает общество целиком. Модернизация — *системный* процесс, потому что изменения одного фактора, одного фрагмента системы побуждают и определяют изменения в других факторах и фрагментах; происходит целостный системный переворот. Модернизация — *глобальный* процесс. Зародившись когда-то в Европе, она приобретает ныне глобальный размах. Некогда все страны были традиционными, некоторые уже стали современными, другие находятся в процессе движения к этому состоянию. Модернизация — *протяженный* во времени процесс: революционная по масштабам изменений, она не происходит в одночасье, и хотя сейчас темпы изменений нарастают, тем не менее модернизация занимает жизнь не одного поколения. Модернизация — *ступенчатый* процесс: все общества, модернизируясь, должны пройти одни и те же стадии. Сколько каждому обществу осталось идти, зависит от того, на какой стадии оно находится, начиная модернизационный процесс. Модернизация — *гомогенизирующий* процесс. Традиционных обществ много, и все они разные; их объединяет только одно — то, что они не современные. Современные же общества в основных структурах и проявлениях одинаковы. Модернизация — *необратимый* процесс. Задержки на этом пути, частичные отступления, снижение темпов и т.п. возможны и даже неизбежны, но все это частности; главное в том, что, начавшись, модернизация не может не завершиться успехом. Модернизация — *прогрессивный* процесс, в ходе которого может быть много зла и страданий, но все в конечном счете окупится, потому что в модернизированном современном обществе неизмеримо выше культурное и материальное благополучие человека. За исключением некоторых частностей это похоже на смягченный, либеральный марксизм. Главное — та же неотвратимость прогресса, убежденность в том, что от счастья не уйдешь. Хотя движущие силы, конечная цель и содержание развития концептуализируются различным образом, формальные структуры мышления марксистских и либеральных модернизаторов почти тождественны.

Такая теория модернизации — однолинейная и идеологически нагруженная — господствовала в социальных науках на Западе, причем образцом и целью модернизационного развития являлся американский образ и уровень жизни, достигнутый после Второй мировой войны. На этой волне возникают исследовательские проекты, финансируемые правительствами западных стран, прежде всего, США,

и крупнейшими частными фондами. Наибольшую известность и резонанс получила работа группы теоретиков-экономистов под руководством Уолта Ростоу из Массачусетского технологического института (МТИ). Целью Международной рабочей группы, созданной в США в рамках Совета по исследованиям в общественных науках (SSRC), которую возглавили политолог Люсиан Пай и социолог Чарльз Тилли, было воссоздание некоей модели государственного строительства, вобравшей в себя базовые составляющие политического опыта стран Запада, создавшего наиболее эффективную современную государственность; полученный в ходе интенсивного мозгового штурма учеными разных стран результат предполагалось транслировать развивающимся странам, столкнувшимся с проблемами формирования эффективного управления, как образец государственного строительства. Но попытка оказалась неудачной, поскольку не удалось прийти к единому консолидированному мнению, что считать общим для развитых стран. Завершением дискуссий, длившихся несколько лет, стал доклад участника группы Иммануила Валлерстайна на заседании Американской социологической ассоциации с характерным названием «Теория модернизации да упокоится с миром!». И хотя в 1975 г. группа по политическому развитию, руководимая уже Ч. Тилли и С. Рокканом, наконец опубликовала материалы дискуссий, это стало свидетельством окончательного отказа от однолинейной схемы эволюции, состоящей в признании стадий политической модернизации по американскому образцу на основе либеральной идеологии демократизации. Эта идеология, впрочем, возродилась в 1990-е годы в виде *транзитологии*, но уже как политическое *орудие* перехода от тоталитаризма (социализма) к либеральной демократии (капитализму), естественно, без глубоких теоретических выкладок.

Но вернемся к теории трансформации, в рамках которой существует помимо парадокса средств и целей еще один парадокс — *парадокс одновременности*, описанный немецким социологом Клаусом Оффе<sup>46</sup>. Согласно точке зрения Оффе и вопреки общепринятым в рамках теории трансформации представлениям, политические и экономические изменения в ходе трансформации *не могут* совершаться

<sup>46</sup> Offe C. Das Dilemma der Gleichzeitigkeit. Demokratisierung und Marktwirtschaft Osteuropas // Merkur. 1995. No. 4.



одновременно в силу специфического характера связи между ними: каждое из этих изменений возможно только тогда, когда *уже* произошло другое изменение, выступая тем самым в качестве собственной (необходимой) предпосылки.

Подтверждение тому, что данное теоретическое положение — отнюдь не далекое от реалий повседневности схоластическое умствование, мало что дающее для понимания современных социально-политических проблем, я получила совершенно неожиданно и отнюдь не из теоретического источника. Блуждая в «дебрях» Интернета, я набрела на заинтересовавшую меня книгу под интригующим названием «Демократия убивает», написанную корреспондентом ВВС Хэмфри Хоксли (Humphrey Hawksley)<sup>47</sup>, где автор на основании своих журналистских командировок по всему миру пытается ответить на вопрос о ценности демократии, дав книге характерный подзаголовок: «Что хорошего в том, что у тебя есть голос на выборах?». Для ответа на этот ключевой вопрос Хоксли формулирует ряд предварительных, в частности, следующих.

Приносят ли демократические выборы порядок в страны, разделенные по этническим линиям?

Насколько важны выборы для людей, не имеющих доступа к чистой воде, не имеющих возможности получить образование и не имеющих работы?

Может быть, пусть не везде и всегда, но на определенной ступени развития компетентное руководство экономикой, а также способность поддерживать закон и порядок для людей важнее, чем представительная демократия?

И если демократия — обязательное условие развития, то почему коммунистический Китай сумел обеспечить людям более высокий уровень жизни, чем демократическая Индия?

На все эти и многие другие острые практические вопросы Хоксли пытается ответить, описывая и анализируя ситуации в разных уголках мира — в Африке, Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке — и везде он сталкивается с одной и той же проблемой: *противоречием демократии и экономического развития*. Дилемму, с какой сталкиваются все развивающиеся страны и все люди

<sup>47</sup> Hawksley H. Democracy Kills: What's so good about having the vote? London: Macmillan, 2009. Рецензию на книгу см.: <http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/democracy-kills-by-humphrey-hawksley-1807168.html>.

в этих странах, он формулирует по-журналистски просто и наглядно: если мир будет стоять на краю гибели и у вас будет шанс спасти семью, бежав на Кубу или на Гаити, что вы выберете? Прочитав эту книгу, вряд ли кто будет долго колебаться в выборе убежища.

Противоречие, зафиксированное и талантливо описанное Хоксли, — это и есть те самые парадоксы модернизации. У него, конечно, они выглядят иначе. Для него, как и для миллионов и миллионов людей, вопрос не в том, реформировать ли сначала политическую или сначала экономическую систему или делать это одновременно. «Вопрос, который встает здесь, — пишет Хоксли, — что делать первым: спасти жизнь ребенка или проводить выборы. Потому что ... в некоторых обществах это невозможно сделать одновременно».

Очевидно, что оба описанных «парадокса трансформации» реальны и теснейшим образом взаимосвязаны. Однако они оказываются парадоксами лишь в рамках теории трансформации, основанной на двух неявных предпосылках — тотальности и одновременности изменений. Стоит только от них отказаться и решить, что снижение детской смертности важнее, чем обеспечение всем права голоса, которое ничего не меняет в экономике, здравоохранении и т.д., как парадоксы исчезают. Но в этом случае и теория трансформации лишается своих базовых характеристик, а сам трансформационный процесс начинает восприниматься не как направленный на достижение заранее заданных конечных целей (параметров), то есть относительно замкнутый, но как *открытый* процесс, в ходе которого происходит постоянное определение и переопределение ситуаций — как исходных обстоятельств, так и конечных результатов деятельности (последний вариант оказывается той самой «социальной инженерией» — social engineering, — которую Карл Поппер<sup>48</sup> рассматривал в качестве единственно возможного способа вмешательства в социальную реальность). Этот саморегулирующийся и в этом смысле органический процесс свободен от концептуальной заданности, а также от парадоксов, не находящих рационалистического решения, а потому постоянно побуждающих реформаторов к насилию.

Проблематичность трансформационной теории, ставшей основой отечественных реформ в 1990-е годы, обусловлена особенностями

<sup>48</sup> Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. II. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. М.: Феникс. Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. См., например: С. 154–155, 166–167.

ми лежащих в ее основе предпосылок тотальности и одновременности изменений. С точки зрения социальной интеграции эти предпосылки имеют как негативные, так и позитивные проявления. Первые заключают в себе тенденцию к аномии и являются продуктом дезинтеграции, спонтанного распада или — как в нашем случае — сознательного разрушения, тогда как позитивные обеспечивают минимум социального порядка и гарантируют дальнейшее организационное развитие, представляя собой принципиально неразрушимый «остаток» как наименьший общий знаменатель старой и возникающей новой систем, иными словами, основание будущих новых систем и институтов. Как правило, разрушение старых структур — результат политических решений, которым предшествует спонтанная перестройка сознания участников старых структур на новые нормативные модели. Именно такими решениями были запрещение деятельности КПСС, ликвидация Госплана и системы отраслевых министерств, а после распада СССР — ликвидация Верховного Совета. И хотя спонтанное ослабление этих институтов, бывших идеологическим, экономическим и политическим основанием советского общества, началось задолго до их ликвидации в политическом и организационном смыслах, однако эти спонтанные тенденции не вели с необходимостью к институциональному распаду, но скорее отражали изменение их идеологического содержания, внутренней организации и — в связи с этим — изменение их социальной функции в новой ситуации политического плюрализма и экономического ограничения всевластия министерств. Начавшийся внутри системы и проводившийся традиционными для системы средствами процесс перестройки оказался совершенно неожиданным для теоретиков трансформации, которые ранее вообще отвергали возможность эндогенных изменений в рамках советской системы<sup>49</sup>. Но вопрос о возможности успеха перестройки — создания демократического политического и экономического порядка — перешел с распадом СССР, означавшим одновременно и завершение эволюционно-реформистского этапа отечественной трансформации, в сферу домыслов и догадок, то есть неverified утверждений, лишенных научного смысла.

---

<sup>49</sup> В теории тоталитаризма Ханны Арендт (см.: Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996; первое англ. изд. 1951) полагалось, что изменение природы тоталитарного общества возможно только извне, военным путем.

Но тем большим смыслом наполнялись в этих условиях новые слова, которые обретали материальную силу, овладевая массами, и, прежде всего, понятия *демократия* и *реформа*.

Именно они стали необходимым основанием легитимизации начавшегося «демократического транзита», базовыми элементами произведенной в начале 1990-х годов «символической» революцию в сознании общества. Согласно П. Бурдьё, символическая революция, совершающая переворот в структурах восприятия и мышления, характерных для данного общества, есть в первую очередь революция политическая. «Слова, названия, которые конструируют социальную реальность в той же степени, в какой они ее выражают, являются исключительными ставками в политической борьбе, в борьбе за навязывание легитимного принципа видения и делания, за легитимное осуществление эффекта теории»<sup>50</sup>.

Для успеха общего дела демократической общественности, в авангарде которой находились либеральные публицисты и журналисты, существовал только один путь — ниспровержение господствующих определений путем изменения схем политического выражения, оценивания и классификации, то есть того, что Бурдьё называл властью наименований и классификаций. И эта задача было весьма успешно решена либеральными публицистами, многие из которых тогда казались грамотными экономистами, поскольку среди них было много докторов наук, обладавшими в силу этого ауры научного авторитета; именно им при поддержке и с помощью СМИ действительно удалось совершить настоящую символическую революцию в сознании большинства российских граждан. Именно они ввели, а медиа растиражировали представления о советском государстве как «командно-административной системе», о рыночной демократии и демократическом рынке как основе всеобщего счастья, о необходимости немедленной «обвальной приватизации», о буржуазии как среднем классе и т.д.. Это шло вразрез со всеми схемами и установками, одновременно политическими и социальными, которые идентифицировали советский способ государственного устройства с непосредственной демократией, трактовали средний класс как класс «просвещения и образования», рассматривали приватизацию как средс-

---

<sup>50</sup> Бурдьё П. Социальное пространство и политическая власть // Бурдьё П. Начала. Choses dites. М.: Socio-Logos, 1994. С. 198.

тво повышения эффективности экономики (а не политическое мероприятие, имеющее целью создать социальную базу нового режима) и т.д. Тем самым произошла трансформация массовых представлений о социально-политическом устройстве на основе новых категорий его восприятия и определения того, что важно, а что нет, что заслуживает быть «живым и хвалимым», а что — «мертвым и хулимым».

Либеральные публицисты воспользовались гласностью, конвертировав ее в право называть «неназываемое», то, что при «старом» режиме оставалось незамеченным (по большей части сознательно) или вытесненным. Право называть обладает мощным воздействием, особенно когда воспринимается как пророчество. В свое время Николай Бердяев писал: «Слова имеют огромную власть над нашей жизнью, власть магическую. Мы заколдованы словами и в значительной мере живем в их царстве. Слова действуют как самостоятельные силы, независимые от их содержания. Мы привыкли произносить слова и слушать слова, не отдавая себе отчета в их реальном содержании и их реальном весе. Мы принимаем слова на веру и оказываем им безграничный кредит... В общественной жизни условная, но ставшая привычной фразеология приобретает иногда власть почти абсолютную. Ярлыки-слова — самостоятельная общественная сила»<sup>51</sup>.

Конечно, эта «символическая революция» была дополнена разграблением национального богатства российского государства, но полученное, скорее присвоенное «демократами» право монопольно распоряжаться последним стало возможным именно потому, что они сумели добиться признания большинством своего *определения* политической действительности. Следствием победы «демократического» видения политики стало признание их политических практик истинными, а политических практик «коммунистов» — ложными, что привело и к созданию новых представлений о правильном и неправильном, соответственно, рациональном и нерациональном, истинном и ложном, то есть эффективном и неэффективном и т.д. Весьма наглядно подобная рокировка проявилась в политике: там, где коммунисты ставили знак минус (разделение властей, политические элиты, представительная демократия и др.), не упуская случая заклеить капитализм, демократы заменили его знаком плюс, и наоборот. Этот

<sup>51</sup> Бердяев Н. Судьба России. М.: Советский писатель, 1990. С. 203.

символический переворот, не без борьбы принятый большинством граждан и повлекший за собой переоценку всей системы ценностей новейшего этапа отечественной истории, привел в 1991—1993 гг. к смене отношений господства — подчинения на основе нового видения политической действительности, которое и создало иной принцип деления на доминирующих и доминируемых: «демократы» и политические практики рыночной демократии — наверху, а коммунисты и социал-демократы вместе со всем их комплексом политических практик — внизу. Тем самым господство «демократических» норм и правил политической игры оказалось в российских условиях подавлением иных, «не вписывающихся» в эти рамки форм политической жизни.

Однако «хитрость мирового разума» взяла свое, еще раз продемонстрировав невозможность «вырваться из происхождения»: постперестроечные «информационные схемы», легитимировавшие «демократию» и «реформу» в их особенном российском понимании, искали источник этого в образе желаемого будущего — в идее российской «рыночной демократии», которая должна обязательно (само)осуществиться. В этом отношении информационные схемы политических практик радикальных «демократов» структурно подобны схемам коммунистов — те и другие сами открывают себе собственный кредит, а их «безупречная» теоретическая модель, основанная на трансформационной теории в первом случае, и на марксизме — «учение Маркса всеильно, потому что оно верно» — во втором, оказывается не более, чем «самоподтверждающим пророчеством».

Очень быстро — практически к 1994 г. — большинство «информационных схем» постперестройки («триумфальное шествие» демократии и реформы 1989—1993 гг., начатые XIX партконференцией и завершившиеся Указом Президента № 1400 «О конституционной реформе в РФ») утратило свою легитимность: население потеряло веру в оправданность, справедливость и неизбежность осуществляемого реформаторами способа социально-политического «обустройства» России. Подобная делегитимизация постперестроечных информационных схем означала упадок и эрозию самого «проекта» «возрождения России». Уже в 1995 г. стало ясно, что никакая вера в «общечеловеческие» или либеральные ценности рыночной демократии уже невозможна: на смену политическим восторгам пришел прагматизм,

митинги уступили место борьбе с обыденным существованием. Однако «магия» слов еще некоторое время сохраняла свое влияние.

Речевые практики полны словами, которые и называют и скрывают то, что за ними стоит — свои «означаемые»; например, сказать «реформа» в 1990-е годы — способ и поименовать происходившие тогда в России перемены, и умолчать о многом из того, что происходит на самом деле; таким образом, реальность, которую конструируют речевые практики, представляет собой «идеологическое расширение» знака. В современных политических коммуникациях слово (означающее) получает приоритет перед означаемым и референтом, функцией которых в процессе общения оказывается лишь подтверждение наличия связи означаемого с реальностью (ср. с симулякрами Бодрийера). При этом оказывается, что означаемое и референт конструируются говорящим в зависимости от того смысла, который он вкладывает в знак; так, актуальная социальная реальность России выступает в роли проекции слова «реформа», зависящей от политической позиции коммуникатора. Большинство населения, да и сами творцы символической революции оказываются не в состоянии вырваться из «орбиты» знака к непосредственной политической действительности: все попытки переосмыслить слово «реформа» лишь воспроизводят его «радикально-демократический» смысл. Слово (знак) «реформа» служит оформлению действительности, является продуктом деятельности профессионалов — производителей практических схем по абстрагированию и рационализации — все равно, с какой оценкой — положительной в случае «радикал-демократов», т.н. несогласных и проч. или отрицательной в случае коммунистической и иной оппозиции.

Означаемое «расплывается», остается только налаженный процесс производства (воспроизводства) смысла. «Демократия» отныне не означает нечто реальное, существующее хотя бы «где-нибудь», «за морем», но лишь указывает, что в принципе можно произвести (и в последующем воспроизводить во времени, в пространстве и в отношениях власти) некую социально-политическую систему, обозначаемую этим понятием.

Понятие демократии стало важнее самой демократии, точнее, *производство* демократии подменило собой демократию: социальная форма победила содержание, ибо, только воспроизводя демократию, мы можем определить ее, полнее и глубже понять смысл демократии,

постичь схему, а главное — рациональный план ее производства, нежели анализируя отдельные ее исторические реализации.

Подобная же метаморфоза произошла и со словом «реформа», которое не столько отражало непосредственную жизнь общества, сколько цензурировало ее, подавляя представления, неприемлемые для ее проводников (вспомним «спираль молчания» Э. Ноэль-Нойман, когда СМИ могут заставить даже большинство замолчать). Тем самым формируется своеобразный «политический код», образованный словами «свобода», «реформа», «демократия», «рынок» и т.п. И служащий для символического воспроизводства социальной реальности, причем кодирование заключается в добавлении к «реалистическому» смыслу слов новых «избыточных» смыслов, представляющих собой по преимуществу групповую «систему фантазии» создателей этих «кодов». Этот код тем не менее может до какого-то момента «вести» за собой политические практики, а к моменту, когда носители кода обесцениваются, у их создателей появляется уже не символический, но вполне реальный капитал.

Описанная историческая ситуация еще раз указывает на относительность ценностей, представлений, смыслов, ориентирующих политические практики. Такие знаки, как «реформа» или «демократия», не связываются более уже ни с какими реформами, они соотносятся только друг с другом, исключая всякую релевантную репрезентацию (поскольку указывают на понятия самих себя), и по причине такой открытости смысла теряют какую-либо определенность: отныне, ввиду пластичности и текучести знаков, «демократия» может быть довольно легко заменена «автократией», «правые» — «левыми», «плюрализм» — «тоталитаризмом». Подобный символический переворот, то есть совокупность операций с политическими знаками, совершенных «демократами», выглядит почти как магические манипуляции, поскольку, хотя реальные «демократизация» и «реформы» прямо противоречили интересам доминируемых, то есть большинства российского населения, значительная часть этого большинства искренне полагали (а некоторые убеждены в этом и поныне — достаточно послушать звонки на радио «Эхо Москвы»), что действовали и выступали не под чьим-то воздействием, а исключительно из глубины собственного существования, а «демократические» журналисты и публицисты лишь выражали их «чаяния».

В общем, с «пересадкой» демократии, даже укорененной символически, все оказалось совсем не просто. И дело не в деталях, а в принципе. Выдающийся британский политический философ консервативного направления Майкл Оукшотт утверждал, что демократическая политика — это традиция или обычай, состоящий из мелких процедур, установлений, привычек, которые вместе обеспечивают то, что называется свободой. Если же эту органическую совокупность превратить в набор формальных принципов и постулатов для перенесения их в другую страну, то все таким образом перенесенное не будет соответствовать оригиналу, поскольку эти формальные принципы окажутся наполненными другим содержанием, соответствующим стилю и традиции местной политики<sup>52</sup>.

Тот же вывод делается и на основе эмпирического исследования политолога Роберта Патнэма, посвященного резко отличающимся друг от друга гражданским традициям Северной и Южной Италии<sup>53</sup>. Сравнивая деятельность введенных в 1970 г. институтов местного самоуправления в разных регионах Италии, он получил возможность проследить процесс эволюции изначально формально одинаковых организаций под влиянием традиционных местных практик и форм коллективной жизни. Вывод Патнэма: демократия начинает работать лишь после длительной взаимной адаптации институтов и традиционных практик, а формальные законы обретают реальное влияние, только «состыковавшись» с местными гражданскими традициями, складывавшимися на протяжении длительного времени. Пожалуй, это весьма серьезное объяснение неудачи отечественного насильственного, пусть и символического, «насаждения» институтов демократии, «демократического транзита».

Очевидно, что все символические революции основаны на использовании *языковых практик* — крайне важного для нашей темы феномена, изучение которого в рамках теории «речевых актов», созданной английским философом лингвистического направления Джоном Остином (1911–1960)<sup>54</sup>, сыграло огромную роль для развития социальных наук начиная с середины XX в. Именно Остин, сле-

<sup>52</sup> Оукшотт М. Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-Пресс, 2002.

<sup>53</sup> Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. М.: Ad Marginem, 1999.

<sup>54</sup> См.: Джон Остин. Избранное. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999, куда входит и его основная работа «Как производить действия при помощи слов».

дую Людвигу Витгенштейну, начал анализировать повседневный язык<sup>55</sup>, в котором и выделил категорию высказываний, имеющих в обыденном языке особый статус — *перформативных высказываний*. Особенность их в том, что они представляют собой не высказывания «о чем-либо», но *действия*, которые изменяют реальность с помощью языка. Именно перформативный характер языка позволяет нам достигать при его помощи определенных эффектов (практических последствий), когда мы обещаем, отдаем приказы, тем или иным образом определяем ситуацию. Подобное использование повседневного языка Остин назвал *иллокутивным*: здесь не просто высказывания, а «делание дел при помощи слов», то есть речевые действия (speech acts). Хорошей иллюстрацией такого применения языка является знаменитое сравнение языка с ящиком инструментов, принадлежащее Людвигу Витгенштейну: «Представь себе инструменты, лежащие в специальном ящике. Здесь есть молоток, клещи, пила, отвертка, масштабная линейка, банка с клеем, гвозди и винты. — Насколько различны функции этих предметов, настолько различны и функции слов»<sup>56</sup>. Подобное инструментальное отношение к использованию языка открыло блестящие исследовательские перспективы, одно перечисление которых заняло бы довольно много места. Отмечу лишь возникновение на этой основе новой дисциплины — политической лингвистики, довольно успешно развивающейся и в России<sup>57</sup>.

Если вернуться к идеям Джона Остина, то в качестве примеров английских глаголов и глагольных словосочетаний, связанных с иллокутивными актами, он приводит такие: *state* — излагать, констатировать, утверждать, *assert* — утверждать, заявлять, *describe* — описывать, *warn* — предупреждать, *remark* — замечать (в смысле: делать замечание), *comment* — комментировать, *command* — командовать, *order* — приказывать, *request* — просить, *criticize* — критиковать, *apologize* — извиняться, *censure* — порицать, *approve* — одобрять, *welcome* — приветствовать, *promise* — обещать, *express approval* — выражать одобрение и *express*

<sup>55</sup> Витгенштейну принадлежит афористически звучащая фраза: «Человек — хозяин языка», которую несколько лет назад я потрясенно услышала в такой интерпретации довольно популярного телеведущего: «Как сказал знаменитый философ Финкельштейн, «журналист — хозяин языка»...», который, по-видимому, также считает себя достаточно знающим, чтобы выполнять и функции эксперта.

<sup>56</sup> Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Пер. с англ. М.С. Козловой, Ю.А. Асеева. М.: Гнозис, 1994. С. 11.

<sup>57</sup> См., например, интересные работы А.П. Чудинова и Э.В. Будаева.

*regret* — выражать сожаление. И это только малая их толика — Остин утверждал, что в английском языке таких выражений более тысячи<sup>58</sup>.

Весьма интересно развивает идеи Остина американский философ Джон Сёрль, давший, в частности, тонкий анализ иллокутивного речевого акта-обещания и исследовавший идею фоновых практик, под которыми он понимал совокупность принятых в культуре и в этом смысле традиционных способов деятельности, навыков обращения с различными предметами и т.д., поскольку понимание любого, даже самого элементарного высказывания всегда требует пусть неявной, но обязательной отсылки к общему массиву знаний о «природе вещей» и о том, как «работает» данная культура. Эти, казалось бы, далекие от политики и тем более от деятельности медиа идеи оказываются весьма продуктивными для анализа и этих сфер. Так, английский философ Майкл Полани, которому принадлежит одно из первых описаний неявного практического знания, напомнил забытый факт: изначально демократическая политика, формировавшаяся в Британии в XVII—XVIII вв., представляла собой практическое искусство и соответствующую ему теорию. «Искусство, воплощавшее практику осуществления политических прав и свобод, было, естественно, ненормируемым; соответствующая доктрина включала максимы этого искусства, которые могли быть правильно поняты только теми, кто владел самим искусством. В XVIII в. доктрина политических прав и свобод оказалась перенесенной из Англии во Францию, а затем распространилась по всему миру. Но при этом искусство осуществления политических прав и свобод, которое могло быть передано только по традиции, не распространялось параллельно с этой доктриной»<sup>59</sup>.

Однако для целей дальнейшего изложения особое значение имеет предложенная Джоном Сёрлем на основе теории речевых актов трактовка метафоры. По его мнению, каждое высказывание содержит два уровня: *подразумеваемое значение высказывания* (ПЗВ) и *буквальное значение высказывания* (БЗВ). Первое — это значение, которое говорящий хочет передать слушателю, а второе — то значение, кото-

<sup>58</sup> См.: Сёрль Дж. Что такое речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М.: Наука, 1986. С. 151.

<sup>59</sup> Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М.: Прогресс, 1985. С. 88.

рое мы получим, анализируя истинное строение высказывания, не учитывая намерений говорящего. Мы говорим, что высказывание *буквально*, если оба значения совпадают, то есть говорящий сказал именно то, что подразумевает, и подразумевает именно то, что сказал. В рамках метафоры, как и других риторических приемов, например, иронии или гиперболы, существует демонстрируемый разрыв между значениями, который нейтрализуется слушателем в процессе интерпретации, то есть отнесение высказывания к буквальному или метафорическому типу в значительной степени зависит от *доверчивости* слушателя.

Эти замечания по поводу метафоры потребовались для того, чтобы проанализировать новую реальность существования современных медиа — *медиаглобализацию*, которая, по мнению английской исследовательницы Марджори Фергюсон, оказывается новой мифологией дигитального мира<sup>60</sup>. Нарастающая тенденция к *глобализации* средств массовой коммуникации, укрепление позиций мировых коммуникационных конгломератов уже на технологически новом — дигитальном уровне ведет к формированию нового глобального медиапорядка. Медиаглобализация осуществляется на основе рыночных механизмов, включающих в себя как создание новых форм услуг, так и фундаментальные процессы трансформации внутри самих СМИ, когда индустрия развлечения и информации объединяются в единый поток — *infotainment*, а «добавка» политики формирует *politainment*.

Среди представителей истеблишмента, в том числе и научного, преобладают представления о позитивном содержании глобализации в сфере медиа, создающей единый международный дискурс, помогая на основе единого коммуникационного пространства решать любые проблемы, принося к тому же экономическую выгоду. Ныне центр тяжести перенесен на последствия процесса глобализации для медиасистем, отдельных каналов, журналистов и прежде всего для широкой аудитории. Одним из наиболее часто обсуждаемых вопросов стала проблема доступа к информации для бедных стран, рынки которых менее привлекательны для продажи информационного продукта. Если воспользоваться популярной метафорой М. Маклюэна,

<sup>60</sup> Ferguson M. The mythology about globalization // European Journal of Communication. 1992. No. 7. P. 69–93.

то, действительно, можно сказать, что мы оказались в условиях «глобальной деревни», но при этом часто забываем о том, что деревня традиционно противостоит городу по уровню и разнообразию представленных в городе образцов культуры и стилей жизни, а новая глобальная «деревня» сводит все это многообразие к образцу Макдональдса. И хотя глобальные медиа открывают невиданный простор для поиска информации, но в то же время широко транслируемая однотипная информация, создаваемая немногими производителями, очевидно сужает диапазон мнений и точек зрения. Парадоксальным, но ожидаемым следствием сегментации аудитории становится усиление власти олигополий новостей в глобальном информационном пространстве как результат концентрации этого бизнеса на основе *конгломерации*, представляющей собой диверсификацию интересов информационных олигополий. Итак, глобализация в сфере медиа означает как *размывание* традиционных границ между различными массмедиа, так и изменение в составе и характере аудиторий. Однако процесс медиаглобализации порождает и новые, непредвидимые последствия, одним из которых является возникновение новой «*мифологии*» глобализации.

М. Фергюсон задалась вопросом: что же транслируют информационные супермагистралы? В результате анализа она выделила семь опорных суждений, которые, собственно, и составляют содержательный базис «живой мифологии глобализации»:

- «Большой лучше»;
- «Больше лучше»;
- «Время и пространство исчезают»;
- «Глобальная культурная гомогенизация»;
- «Спасение планеты Земля»;
- «Демократия на экспорт посредством американского телевидения»;
- «Новый мировой порядок».

Первый миф — «Большой лучше» — выступает в качестве политической идеологии, основы публичной политики, а также корпоративной стратегии, обслуживая доктрину рыночного капитализма, отражающую исключительно позитивную роль всемирной миграции и концентрации капитала, товаров и услуг. В сфере коммуникации он используется для обоснования концентрации собственности в руках олигополий и подчинения медиа как средства публичного

дискурса интересам олигополий, в результате чего «продажа» глобализации на рынке становится частью глобализации как таковой (усиление и расширение симбиоза гиперболы глобализации и ее смысла).

Миф номер два интерпретируется таким образом: увеличение прибыли частных корпораций ведет к увеличению возможностей выбора у потребителя.

Представление об исчезновении (сжатии) пространства и времени базируется на преувеличении возможностей новых электронных медиа осуществить давнюю мечту человечества об объединении мира.

Информационное пространство Интернет-культуры имеет, как сказал бы математик, бесконечное множество измерений. У него нет естественной топографии. Киберпространство — это территория, которую невозможно картографировать. Можно выразиться по-другому: в киберпространстве нет «естественных» форм изображения, а потому для представления данных нужны метафоры. Поэтому можно говорить о неизбежной метафоричности обладающего бесконечным множеством измерений информационного пространства. А это как раз и означает, что, как показывает немецкий коммуникативист Норберт Болц, Интернету не обойтись без вспомогательных конструкций старых медиа<sup>61</sup>.

Миф о глобальной культурной гомогенности связан с идеей Маршалла Маклюэна о глобальной деревне, дополненной постмодернистской интерпретацией «сплетенности» мира, то есть об усилении культурного и экономического единообразия. В основе этих представлений лежит реальный процесс конгломерации как транснациональной организации культурного производства, обеспечивающей экспорт и импорт медиаартефактов. Все это приводит к созданию метакультуры, в рамках которой возникает новая коллективная идентичность, базирующаяся на разделяемых образцах потребления, когда индивидуальный выбор формируется путем подражания.

В призыве «Спасти планету Земля» соединились, по мнению М. Фергюсон, идущая от античности вера в тесную связь человека («микрокосма») с природой («макркосмом») с современными идеями экологического активизма.

<sup>61</sup> Bolz N. ABC der Medien. München: Wilhelm Fink Verlag, 2007.

Идея «Демократии на экспорт посредством американского телевидения» является, по мнению Фергюсон, обновленной версией представления о возможностях массмедиа воздействовать на общественное мнение, прежде всего, в политических целях, то есть о прямых медиаэффектах, характерных для начального периода развития массовых СМИ. Эти идеи всплыли вновь в исследовании глобализации медийной сферы, проведенном Министерством торговли США, целью которого было выявить возможности усиления конкурентоспособности американских компаний для обеспечения их доминирования в этой сфере<sup>62</sup>. Фактически в документе речь шла о формировании политико-культурной «повестки дня» для всего мира. В основе лежала предпосылка об эффективности американской кинопродукции и телевизионных программ как экспортеров американских ценностей и «демократических идеалов» в условиях, когда глобальные медиа играют все более значимую роль в продвижении свободы слова и требований демократических реформ в международном масштабе (эта точка зрения получает подтверждение всякий раз, когда политические лидеры всего мира и национальные медиакорпорации буквально цитируют CNN, выступающее как *lingua franca* современности).

Из подобного сочетания политики и экономики и возник высокофункциональный набор идей, которым руководствуется как американское кино- и телевизионное производство, так и американский истеблишмент. В основе этих представлений — специфический взгляд на информационные продукты как средство *политического* просвещения и формирования соответствующих убеждений (в частности, отказ от коллективизма во имя демократии), что входит в противоречие с ориентацией на их культурный потенциал, на чем — в рамках идей «нового мирового порядка» — настаивали представители неприсоединившихся стран.

Миф о «новом мировом порядке»<sup>63</sup> (НМП) является самым поздним добавлением к мифологии глобализации, появление которого,

<sup>62</sup> Obuchowski J. Comprehensive Study of the Globalisation of Mass Media Firms. Washington, D.C.: US Department of Commerce, 1990.

<sup>63</sup> Само понятие «нового мирового порядка» в сфере медиа имеет довольно долгую историю: возникнув в середине XX в. как лозунг стран третьего мира, борющихся за выравнивание односторонних информационных потоков, он получил свое отражение в докладе созданной в 1978 г. при ЮНЕСКО Комиссии под руководством Шона Макбрайда под названием «Многоголосый, но единый мир».

по мнению М. Фергюсон, наглядно демонстрирует возникновение новых мифов на основе возрождения старых и забытых, но адаптированных к изменившимся условиям. Впервые призыв к НМП в его современном виде прозвучал из уст американского президента во время первой войны в Заливе; за этой формулой тогда скрывалось довольно смутное идейное содержание. Такая неопределенность была связана с недостаточным различием двух представлений — о «мировом порядке» (“world order”) как внесении порядка в мир (*order in the world*) и упорядочиванием мира (“ordering of the world”) в соответствии с определенным набором идеологических предпосылок или экономических практик. И эта двусмысленность сохраняется до сих пор, несмотря на постоянно идущий пересмотр самого мифа.

Однако американское происхождение мифа, хотя и носящего глобальный характер, изначально определяло его суть как ожидание «нового Иерусалима» мировой политической власти, должной возникнуть на основе уничтожения коммунизма и триумфа капитализма. До того как этот мираж сгустился, «новый» НМП стал формироваться с драматической быстротой: августовский путч в Москве в 1991 г. И последовавший за ним быстрый распад Советского Союза ознаменовали начало его формирования. В основании его лежала выдвинутая Фрэнсисом Фукуямой в 1989 г. идея «конца истории»: западная либеральная демократия прошла полный круг развития и вернулась к началу — не к «концу идеологии», или конвергенции социализма и капитализма, но к безоговорочной победе экономического и политического либерализма англо-саксонского типа.

Если посмотреть на ситуацию шире, с позиций культурных оснований политики, то такой сознательно суженный подход, легко объяснимый американским доминированием, чреват довольно значительными негативными последствиями. Хорошей иллюстрацией отложенных, но неизбежных результатов унификации политических оснований деятельности в масштабах всего мира является довольно старый сюжет, показывающий и реальное отношение политиков к подлинно научной экспертизе.

В 1949 г. Генеральная ассамблея нового международного института Организации объединенных наций принимала основополагаю-



ший документ — Декларацию прав человека. Процесс подготовки Декларации был довольно долгим, поскольку надо было создать принципиально новые основания функционирования международно-правовой системы, что требовало серьезной научной проработки. Одним из документов, представленных в процессе подготовки, был «Меморандум о правах человека», подготовленный Американской антропологической ассоциацией.

Американские антропологи писали в меморандуме: «Стандарты и ценности соотносительны с культурами, из которых они происходят, так что любая попытка сформулировать всеобщие постулаты на основе представлений или моральных кодексов одной из культур ограничивают применимость соответствующей декларации прав человека к человечеству в целом...» И далее: «Основополагающее значение должен иметь всеобщий стандарт свободы и справедливости, базирующийся на принципе, согласно которому человек свободен только тогда, когда может жить согласно пониманию свободы, принятому в его обществе... И наоборот, эффективный мировой порядок не может существовать, если в его основе не лежит свободное развитие личностей членов составляющих его единиц»<sup>64</sup>. Авторы меморандума, выступавшие с позиций плюрализма культур, вовсе не были какими-то завзятыми консерваторами. Они выражали принципы научного подхода к изучению народов, населяющих Землю, различие которых — в культурных особенностях каждого этноса, и это — принципиальная позиция большинства антропологов. Ровно через 30 лет после американских исследователей (в 1978 г.) выдающийся французский антрополог Клод Леви-Строс писал, что ни одна из цивилизаций не может претендовать на то, что в наибольшей мере выражает или воплощает идею мировой цивилизации как таковой: «...мировая цивилизация не может быть в мировом масштабе ни чем иным, кроме как коалицией культур, каждая из которых сохраняет свою самобытность»<sup>65</sup>.

<sup>64</sup> Statement on human rights, submitted to the Commission on Human Rights, United Nations, by the Executive Board, American Anthropological Association // American Anthropologist. 1947. Vol. 49. P. 541 ff. Цит. по: Greverus I.-M. Kultur und Alltagswelt. Eine Einfuehrung in die Fragen der Kulturanthropologie. Fr. a. M., 1987. S. 74.

<sup>65</sup> Levy-Strauss C. Race and history // Structural Anthropology. London, 1978. Vol. 2. P. 330.

Объединенные нации, по сути дела, проигнорировали этот меморандум, положив в основу Всеобщей декларации *универсалистскую* концепцию прав человека, согласно которой человеческие права едины для представителей всех сообществ, входящих в мировой порядок, независимо от специфики конституирующих эти сообщества традиций и свойственных этим традициям принципов понимания свободы. Содержательно эти универсальные права представляют собой именно «постулаты, вытекающие из представлений и морального кодекса одной [а именно западноевропейской и американской] культуры». В результате неизбежной оказывается ситуация, в которой реализация универсальных (точнее, объявленных универсальными), а по сути, культурно-специфических прав человека либо остается утопией, если мировое сообщество не применяет санкций для реализации этих прав там, где они нарушаются, либо оказывается средством, используемым для реализации эгоистических политических целей стран (страны), лидирующих в сообществе.

Существовало два варианта формирования основополагающих принципов международно-правового устройства — европоцентристский и плюралистический. В результате идейной близости инициаторам создания ООН был избран первый — абстрактно-эгалитаристский вариант. На конкретно-политическом уровне это привело к тому, что универсалистская Декларация прав человека стала для развитых стран Запада орудием доминирования в мировой политике и вмешательства в дела других стран. Если же подойти к делу теоретически, можно сказать, что продекларированное абстрактное равенство не выдержало испытания, столкнувшись с фактическим неравенством исторических индивидуумов.

Версия истории, которая заканчивается, связана с концом господства идей Просвещения и переходом к постмодерну и нашим «падением» через границу модерна (как воплощения просвещенческих идей) в бездну неопределенности, характеризующейся, в частности, сдвигом границ и представлений о политическом суверенитете, превосходящем границы национальных государств. Именно такое — расширенное — понятие суверенитета является основой внешней политики США последнего десятилетия, которая получает свое «оправдание», не в последнюю очередь, через медиаглобализацию и медиадемократию.

## 7. Медиадемократия как данность

В чем *смысл* современной демократии помимо того, что это «власть народа»? По-видимому, в том, что, во-первых, каждая демократия, реализуя собственную *differentia specifica*, организует «привлечение многих», во-вторых, существуя сегодня в виде репрезентативной демократии, она представляет собой «господство политиков». Мир политики оказывается доступен неполитикам только через посредство медиа, транслирующих его зримые приметы — лица, дебаты, события. Или, как пишет профессор Технического университета в Берлине Норберт Больц, «собственно политической процесс начинается происходить в инсталляциях массмедиа»<sup>66</sup>. Уже не парламент — основная арена представления политиков, но медиа, прежде всего, телевидение, где место политического действия занимает электронный имидж политика — его сконструированный образ. Успешные, то есть известные, политики в пространстве медиа — не столько носители партийных и государственных должностей, но звезды, знаменитости — *celebrities*, как они понимаются в индустрии развлечений. Наглядным подтверждением этого суждения является история предвыборной борьбы на телеэкранах — эра, провозвестником которой стал Джон Фиджеральд Кеннеди, ставший первой политической телезвездой до таких звезд политшоу, как Герхард Шредер в Германии или Владимир Путин в России. Судьбы политиков теперь в руках медиадизайнеров, которые презентуют политиков как марку товара, а тайна успешной медиаполитики, как считает Больц, — превращение людей в медиазвезд.

Так ныне формируется новое представление о политическом — *politainment* как единство новостей, рекламы и развлечений. Как сказывается эта ситуация на практике демократии? Замена парламента телевидением как местом саморепрезентации политика означает и еще одну замену — на место политической репрезентации (представления классов, групп интересов) встает *медиаэстетическая* презентация. Политику теперь достаточно войти в круговой процесс доминирования посредством медиа: кто доминирует, тот *производит впечатление* мощно действующего, кто производит впечатление действующего мощно, захватывает *внимание* — самый дорогой в

<sup>66</sup> Bolz N. Das ABC der Medien. München: Wilhelm Fink Verlag, 2007. S. 72.

медиаизированном мире ресурс, кто захватывает внимание, тот тем самым гарантирует себе доминирование.

Медиаполитика и новая медиадемократия имеют множество последствий. Перечислим лишь основные. Так, политика «снимается» в риторике политшоу, где политическая компетентность подменяется медиакомпетентностью, когда от политика требуется не ясность позиции, обоснованные решения и активные действия, а умение привлечь внимание телезрителей. И это, в общем, понятно. Ведь граждане, наблюдающие политические ток-шоу, не обладают достаточными знаниями, чтобы судить о компетентности конкурирующих в рамках дискуссии политиков, поэтому им остается одно — эстетическая оценка, что прекрасно известно медиаконсультантам и политтехнологам, которые концентрируют усилия не на подготовке глубоких программных документов, а на *политическом дизайне*, то есть медиаинсценировках, что имеет далеко идущие последствия для аудитории: зрители ток-шоу и телевизионных дуэлей политиков следят не за мыслью, но за *исполнением*. В ток-шоу и телевизионных дуэлях совершается эстетизация политики, в основе которой лежит использование медиаконсультантами и политическими рекламистами известной социально-психологической закономерности: **что** кто-то говорит, гораздо менее важно, чем то, **как** это говорится. Так формируется *политика без идей*, в которой дело не доходит до споров и содержательных дискуссий, могущих не вписаться в данный информационный формат. Гарантией успешности политического демонстрационного выступления выступает *ритуализация*, поскольку заранее известно, кто на какой вопрос отвечает.

Это же обстоятельство усиливает влияние и важность советников по связям с общественностью, экспертов по маркетингу и спин-докторов, которые «обращаются с политиками как с продуктом некоей фирмы, которая притягивает покупателей, поскольку представляет культовую марку»<sup>67</sup>. Поэтому столь велика роль заменившего сегодня пропаганду *политического брендинга*, который снижает транзакционные издержки избирателей, то есть высокую стоимость приобретения политической информации; по той же причине столь большое внимание уделяется предвыборным рекламным кампаниям, риторика которых позволяет экономить время на получение

<sup>67</sup> Bolz N. Das ABC der Medien. S. 74.

политической информации. (Сегодня любой гражданин знает, что затраты — время, усилия — на поиск политической информации себя не оправдывают, поскольку, в конце концов, у каждого человека только один голос. Остается с ностальгией вспоминать кажущиеся теперь почти мифическими времена — всего-то отделенные от нас 30—40 годами, когда реальностью была «обязанность быть информированным», чтобы принимать решения «со знанием дела»). Ныне партии существуют в общественном сознании как товарные марки, а политики — как марочные товары. Это и означает превращение современной медиатизированной политики, по сути, в *public relations* самой себя, PR самой себя и возникновение *promotion culture*, становящейся основным ориентиром и конечной целью практически всех видов деятельности.

В этих условиях меняются и задачи политика, перед которым сегодня стоит двуединая задача: с одной стороны, принимать решения в советах и комиссиях, то есть выполнять государственные управленческие функции, а с другой — рекламировать себя, то есть вербовать сторонников перед камерой. Причем вторая часть задачи оказывается более значимой, ибо именно она определяет успех политика и проводимой им политики. Очевидность этого факта и означает наступление медиадемократии, суть которой — в «организации политической общественности согласно постановочным принципам массмедиа, когда политически действительным является только то, что может быть сфотографировано, то есть представлено в виде визуального образа и рассказано»<sup>68</sup>. А поскольку людям интересны только люди, то есть истории, а не политическая система и процессы принятия решений, то основной упор делается именно на персон, желательно знаменитых, а «знамениты политики, о которых известно, что они хорошо известны». Эти знаменитости подобны греческим богам: они, как пишет Болц, такие же, как мы, только богаче, подвижнее, сильнее, и, наблюдая за их жизнью благодаря телевидению и печатным медиа, мы наслаждаемся близостью к сильным мира сего, соучаствуя в удовольствиях, даруемых политическими властью.

Столь гипертрофированная персонификация мира современной политики имеет несколько оснований. Во-первых, содержательная неразличимость партийных программ в силу того, что все партии

<sup>68</sup> Bolz N. Das ABC der Medien. S. 75.

преследуют одни и те же цели, делает неизбежным радикальную персонификацию политики. Во-вторых, и это вытекает из первого, нежелание большинства разбираться в действительно сложных политических вопросах приводит к подмене знания и убеждений *доверием*. В этом смысле усиливающаяся персонализация политики оказывается выходом для некомпетентных, в сознании которых суждения о личностях замещают суждения о предметах и о существовании дела, но именно это и дает публике свободу «распределения» и выражения своих симпатий и антипатий. Высшим проявлением подобной редукции политической сложности до эмоций является телевизионная дуэль между президентом страны и претендентом на этот пост. Начало этому процессу положили теледебаты между 35-м Президентом США Джоном Кеннеди и его соперником Ричардом Никсоном в 1960 г., который можно рассматривать как условную веху перехода от парламентской к медиадемократии.

\* \* \*

Институт власти (господства) и институт массовой информации имеют совершенно различные функции и цели, но между ними существует теснейшее «избирательное родство». Природа политической власти такова, что она может осуществляться только через коллективную целенаправленную деятельность всех членов общества. Кроме того, сконцентрированная в руках немногих, власть в современном демократическом государстве нуждается в поддержке граждан как потенциальных избирателей, делегирующих своим выбором властные полномочия той или иной партии.

Коллективный характер большинства реализуемых в политике целей предполагает использование специальных средств путем трансляции желательной информации, способных обеспечить единую направленность действий большого количества людей, то есть мобилизовать их на массовые действия. Именно массмедиа и оказываются единственным таким средством, учитывая их функцию формирования информационного аналога общества, а следствием сложившегося положения является *особая роль СМИ в современном политическом процессе* и их огромное влияние на политическую жизнь. Свидетельство тому — возникшее сравнительно недавно для описания этой новой ситуации выражение «*медиатизация политики*» (но

в такой же степени будет верно и обратное утверждение о «политизации» современных массмедиа). Однако это выражение не следует воспринимать буквально, ибо воздействие медиа на политический процесс не властное, а инструментальное: СМИ – не власть, а *инструмент власти*, сколь бы важную роль во властных взаимодействиях они ни играли.

В этой новой ситуации СМИ выступают как агенты властных полномочий, перехватывая у публичной сферы возможность рациональных и критических дискуссий. Медиа осуществляют манипулирование общественным мнением, предлагая заранее взвешенные и удобные для власти варианты освещения событий (в частности, путем формирования повестки дня) отводя общественности роль пассивного наблюдателя.

Именно эти две тенденции – публичная (или публично-правовая, зафиксированная в современных демократических конституциях) и технократическая, предполагающая вытеснение общественности за пределы политики, – и преобладают в современных обществах.

*Препринт WP14/2010/04  
Серия WP14  
Политическая теория  
и политический анализ*

Черных Алла Ивановна

## **Власть и политика в эпоху медиадемократии**

Зав. редакцией оперативного выпуска *А.В. Заиченко*  
Редактор *И.Л. Добрякова*  
Технический редактор *Ю.Н. Петрина*

Отпечатано в типографии Государственного университета –  
Высшей школы экономики с представленного оригинал-макета  
Формат 60×84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Тираж 150 экз. Уч.-изд. л. 4,3  
Усл. печ. л. 4,2. Заказ № . Изд. № 1178

Государственный университет – Высшая школа экономики.  
125319, Москва, Кочновский проезд, 3  
Типография Государственного университета – Высшей школы экономики.  
Тел.: (495) 772-95-71; 772-95-73

Для заметок

---

---